

Богданов К.А. *Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков.* М.: ОГИ, 2005. 504 с.

Обложка книги Константина Богданова, вышедшей в издательстве ОГИ, рискует стать ложной приманкой для того читателя, чей литературный вкус сформировался под влиянием эстетических экспериментов 1990-х гг. В то переломное время сближение орбит читателя и пациента, писателя и врача еще несло на себе отпечаток игривости. Сопоставление чтения с пищеварением еще увлекало своей условностью, оторванностью от конкретной «исторической правды». На подмостках «медгерменевтов» (Пепперштейн/Ануфриев) и в анатомическом театре Владимира Сорокина литература с детской безответственностью разыгрывала кровавые травестики, выходя к читателю то с гримасой пациента, нашпигованного фармакологическими препаратами и «аптечной» лексикой, то в обличье сумасшедшего врача с окровавленным скальпелем в руке. С середины 1990-х становится заметно, как модель литературы «в белом халате», условно ориентированная на язык психиатрии, начинает распространяться шире. Выла-

мываясь из границ фикциональных жанров, она прокладывала себе дорогу в литературоведение в качестве метода текстового анализа [Смирнов 1994; Белянин 1996]. Симптоматично, однако, что в основе соотнесения медицины и литературы лежала исследовательская убежденность в генетической несовместимости одного и другого. Эта убежденность не только не отменялась, но, скорее, усиливалась противопоставленностью объекта и метода во временном измерении. Если литературному объекту приписывалась диалектическая подвижность, то медицине как методу — метафизическая статичность.

Необходимость проанализировать изменчивость и литературную обусловленность самого языка медицины назрела давно. Но какой филолог возьмется за препарирование специальных терминов из естествознания ушедших эпох? Да еще ради нового прочтения произведений Радищева, Пушкина, Лермонтова и Чернышевского? Мыслимо ли во время такой операции уберечь девственность национального школьного литературоведения, да и самого литературного канона? До Константина Богданова историкам естественных наук, пожалуй, еще не удавалось столь глубоко внедриться в заповедную область русской классической словесности. От посягательств пришельцев ее границы охраняли крепкие академические заслоны не «медицинской», но традиционной филологической герменевтики. Обсуждая попытку преодоления этих заслонов, можно упрекнуть Богданова в цинизме или похвалить за оригинальность и новаторство. Но ни та, ни другая оценка не отменяют того изумления, с которым читатель открывает для себя существование мощного медицинского течения под твердой породой русской литературной классики XVIII—XIX вв.

Медицина, или «патографический дискурс», как широко определяет предмет своего исследования Богданов, предстает в книге в своих двух измерениях — как язык описания болезней, с одной стороны, и как язык самоописания общества — с другой. В этом втором своем качестве медицина играет роль, сходную с той, какую теория социальных систем отводит специальным кодам коммуникации — политической власти, религии и праву [Parsons 1967; Luhmann 1987]. Ограниченный рамками кода, интерес Петра I к телесным аномалиям, препарированным детским трупам и свадьбам карликов теряет для читателя обаяние невинного чудачества, но воспринимается более органично как особая форма репрезентации политической власти, отказавшейся от идеи преемственности (С. 34—64). *«На протяжении всего своего правления — и чем дальше, тем сильнее, — замечает Богданов, — Петр позиционирует себя как властителя, наделенного „демиургическими“ функциями, стоящего у „причин и начал“ создаваемого им мира»* (С. 52).

Если в Западной Европе границы коммуникативных кодов выглядят более резко очерченными, то в России тонкие перегородки, разделяющие, в частности, медицину и религию, открывают возможность для совпадения врачебной и богословской терминологии, с одной стороны, и «дублирования социальных функций врача и священника» — с другой. Симптоматично, что «врачеванию» в России вверялось не только тело, но и душа, а *«врачами начиная с петровского времени регулярно становились выходцы из священнического сословия»* (С. 84). Постоянно возвращаясь к принципу «взаимоналожения» медицинской и социологической терминологии, наиболее детально отработанному на эпохе абсолютизма, Богданов в середине книги раскрывает читателю и тот нехитрый рецепт, по которому лепились границы национальных сообществ в Европе начала XIX в. Характерно, что риторизация фигур «заразы», «эпидемии» в русской патриотической печати придавала старинным обвинениям в адрес лютеран и католиков осязаемый телесный колорит (С. 204).

Определив «патографию» как «дискурс русской культуры», Богданов не отказался от соблазна придать «грассирующему» на французский манер дискурс-анализу дополнительный системно-теоретический крен. Вторя Парсонсу во введении, он предлагает рассматривать больных как носителей определенной социальной функции, а именно — функции пациентов. Больные при таком понимании — не те, у кого что-то болит, но те, кто решил *«подвергнуться медицинскому попечению, социально институционализованной „медикализации“»* (С. 14). Исходя из такой посылки, можно было, кажется, ограничить исследование анализом коммуникативной рамки «врач — пациент», углубившись, например, в малоизученный вопрос об институциональном оформлении функций народного знахаря. Основанием для такой постановки проблемы могла бы стать обсуждаемая уже во введении этимология слова «врач». Начиная с XI в. так назывался тот, кто «заговаривал» болезнь, т.е. умел *«соответствующим образом говорить»*, или *«врать»* (С. 16).

Причина, заставившая Богданова отказаться от эволюционизма, предполагающего движение «от простого к сложному», «от общего к специальному», вероятно, связана со спецификой исследуемого предмета. Отразить в исследовании неровный «очаговый» характер русской культуры значило показать зигзаги, прерывистые и пунктирные линии на карте русской письменной традиции. Существенную роль в аналитическом инструментарии Богданова играют техники «медленного чтения», особенно эффективно применяемые при разборе малоизвестных широкой публике текстов русского Просвещения.

Цитаты из «Письмовника» Курганова (1769) и «Прогулок» Клушина (1792), уже на 27-й странице должны убедить читателя в том, что между русскими врачами XVIII–XIX вв. и русскими народными врачевателями не существует никакой генетической связи. «Институализация самой медицинской профессии», — замечает Богданов, — *устойчиво связывалась в общественном сознании с преобладанием в ней иностранцев*» (С. 27). О традиционном русском отношении к последним красноречиво говорит эпиграмма графа Хвостова (1784): «*Что ты лечил меня, слух этот верно лжив, / — Я жив*» (С. 27).

Отход от эволюционизма как части системной теории не следует понимать как отказ автора признать «процессуальность» истории. Наиболее интересные авторские наблюдения рисуют смену медицинских научных парадигм и практик лечения как эффект переориентации социально коммуникативных кодов. Например, ценность очистительной терапии, связанной с кровопусканием, до сих пор не опровергнута научным образом. Тем не менее клистиры и пиявки почти не используются сегодня в практическом лечении. Рассуждая, почему это так, Богданов вслед за Аккернехтом делает упор на процессе обезличивания коммуникативной рамки «врач — пациент», рассматривая его как примету XIX в. В контексте обезличивания «медицина у постели» уступает место «госпитальной» и, позднее, — «лабораторной» медицине». «*Пользование конкретно-го пациента, — резюмирует автор книги, — отступает перед необходимостью врачевать болезни, угрожающие не только — и не столько — отдельному пациенту, но обществу в целом*» (С. 137). Тот же социальный процесс, связанный с деперсонификацией коммуникативного кода, находит выражение в закате культуры помещичьих усадеб. Характерно, что деградацию головлевского имения у Салтыкова-Щедрина олицетворяет Улитушка, замечательная тем, «*сколько она поставила в своей жизни <...> клистиров*».

Вольное расположение и почти «фривольные» названия глав книги — 3-я «Мелочи жизни — очевидное—невероятное», 6-я «Масонские добродетели и новости медицины», 9-я «*Vis electrica: лягушки и люди*», 14-я «Петербург и окрестности», 18-я «Вырождению вопреки» и т.д — способны вызвать панику у читателя, привыкшего к систематизации и строгой терминологической привязанности естествознания. И наоборот, читатель, принимающий «условие постмодерна» (*condition postmoderne*), каким определил его Лиотар, оценит в авторском самопародировании пафос недоверия к «метарассказу» как рычагу идеологического воздействия на аудиторию (*l'incrédulité à l'égard des métarécits*) [Lyotard 1979].

Будто бы случайно забывая своих героев в XVIII в. и снова подбирая их в конце XIX в., Богданов целенаправленно уводит читателя от прогрессистского понимания истории науки как истории научных открытий. Если логика «научного прогресса» состоит не в появлении новых ученых идей, а в преобразовании отношений между научными означающими и социальными означаемыми, то о рождении и смерти научного труда нельзя судить по дате его издания. Якобы случайно попавший на «онегинскую» полку и, по мнению Лотмана, уже в пушкинскую эпоху весьма несовременный французский физиолог Биша, с точки зрения Богданова, в течение всего XIX в. воспринимался «как исключительно актуальный автор», причем не только при жизни Пушкина, но даже в 1865 г., когда «*появился русский перевод „Recherches physiologiques sur la vie et la mort“*» (С. 143).

Контекстуальная обусловленность медицинских практик, с одной стороны, и трудность перенесения коммуникативной рамки «врач — пациент» в русский культурный контекст, с другой стороны, служат логическим основанием для введения фигуры «третьего», т.е. читателя, в концепцию исследования. Читатели, они же писатели (а в более широком смысле — интеллектуалы) переводят язык медицинских описаний в статус символических коммуникативных кодов, и они же выступают телесными жертвами генерализованных обществом смыслов. Изучая на себе «процессуальность телесного функционирования» и стремясь обрести доказательство «потенциальной трансформативности животной природы», русский читатель Лейбница и Локка Александр Радищев приблизил, как считает Богданов, «*свое загробное совершенствование мучительным самоубийством*» (С. 94). Сходным образом, «поступок» Пушкина, вложившего в руки своего героя ученый трактат о пагубности онанизма, в контексте творческой и личной биографии поэта может быть прочитан как автореференциальный жест. «*Онегин, — пишет Богданов, — тщетно гасит страсть, следуя унылым предписаниям швейцарского доктора [Тиссо]*» (С. 148). Гасил ли ее сходным образом сам Пушкин? Был ли реформатор русского стихосложения «*болезненным эротоманом гипергонадального типа*», каким увидел его психиатр Галант (1927)? Ответить «да» или «нет» — это книга предоставляет читателю. Для самого Богданова обсуждение этого вопроса, очевидно, имеет лишь второстепенное значение. Значение представляет другая, не всегда эксплицитно оформленная, но последовательно реализуемая автором исследовательская программа, связанная с изучением отношения между конкретным, телесно воспринимаемым, «инкорпорированным» смыслом, с одной стороны, и абстрактным, оторванным от тела, генерали-

зованным символом — с другой. Сенсорный аппарат интеллектуальных элит — так можно обобщить пафос исследования — выполняет функцию подвижного биосоциального фильтра, участвующего в преобразовании частных смыслов в коллективные символы и регулирующего освоение новаций общественным «сознанием».

Ориентированная на русского читателя, теоретическая программа Богданова особенно тесно примыкает к тому направлению в социологии культуры, которое начиная с шестидесятых годов радикально противопоставило себя теории социальных систем, подчеркивая моментальный, контекстно обусловленный и потому прежде всего телесный характер социального действия. Симптоматично, что сходная установка объединяет столь разных исследователей западного общества, как Пьер Бурдьё, Чарльз Тэйлор, Мишель Фуко и Эрвин Гоффман. Мысленно прикидывая, в каком направлении станет развиваться русская теория культуры в ближайшем будущем, можно прогнозировать продвижение идеи инкорпорированного, или «практического смысла» (*sens pratique*), с периферии в центр гуманитарного знания. Основания для такого прогноза дает, в частности, культурологическая концепция Богданова, в процессе развития которой слово «патография» освобождается от кавычек и вместе с тем от контекста литературного эпатажа. К концу книги это слово начинает восприниматься читателем со «зверской» серьезностью, — как системная модель описания общества и его исторических практик.

Библиография

- Белянин В. Введение в психоатрическое литературоведение. München, 1996.
- Смирнов И. Психодиахронология. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
- Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt am Main, 1987.
- Liotard J.-F. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir. Paris, 1979.
- Parsons T. Sociological Theory and Modern Society. New York, 1967.

Дмитрий Захарьин



Каневская Г.И. «Я бездомный, но зато на воле...»

Русские перемещенные лица в Австралии (1947–1954 гг.). Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2005. 232 с.

Изучение истории русского Зарубежья представляет интерес не только с исторической или культурологической точек зрения, но и в плане исследования этнологических аспектов существования и эволюции русских диаспор в инокультурном окружении стран рассеяния. Одной из таких стран рассеяния вот уже на протяжении столетия является Австралия. Русская община Австралии невелика: сами австралийские русские считают, что к началу XXI в. она насчитывала примерно 50 тысяч человек, или менее 0,5 % населения Австралийского Союза [Донских 2002]. История русской эмиграции в Австралии представляет, однако, особый интерес. Дело в том, что большая часть русских, оказавшихся в Австралии, по своему культурному уровню не уступала, а во многом и превосходила «коренное» белое население Австралии. В силу этого русские оказали гораздо более заметное воздействие на культурную жизнь и, более того, на становление и оформление национальной культуры Австралии, чем этого можно было бы ожидать, ориентируясь только лишь на численность русских эмигрантов¹.

В новой книге профессора Дальневосточного университета (Владивосток) Г.И. Каневской исследуются политические и экономические аспекты русской эмиграции в Австралию, особенности укоренения эмигрантов в австралийском обществе, пробле-

¹ Подробнее см.: [Петриковская 2002].

мы сохранения русской общиной своей этнической и культурной идентичности. Г.И. Каневская давно и успешно занимается историей русской эмиграции в Австралию, и рецензируемая книга представляет собой своего рода итог ее исследовательских усилий. Из подзаголовка новой монографии следует, что она посвящена истории одной из наиболее значимых волн русской эмиграции в Австралии — русским перемещенным лицам, так называемым ДиПи (от английского Displacement Persons), которые оказались на пятом континенте после Второй мировой войны. В действительности, однако, содержание рецензируемой работы много шире. В ней представлен также обширный, занимающий почти треть всего издания раздел о русской эмиграции в Австралию в предшествующий период, поэтому не будет преувеличением утверждать, что исследование Г.И. Каневской освещает историю русской эмиграции и русской общины в Австралии на протяжении всей первой половины XX в.

Прежде всего, следует отметить, что монография очень хорошо фундирована. Г.И. Каневская привлекает не только теоретические труды и основные работы российских и австралийских авторов по истории эмиграции; она смогла разыскать и использовать множество статей, сообщений и заметок из провинциальных научных изданий двух стран. Историкографический обзор, который предпослан исследованию, в силу своей полноты может служить полезным справочным пособием по вопросам русской эмиграции в Австралию. Редкие и труднодоступные материалы, выявленные Г.И. Каневской, впервые вводятся в научный оборот. Так, для рассказа о русской дореволюционной эмиграции привлечены публикации из дальневосточных газет начала XX в.: «Далекая окраина» (Владивосток), «На чужбине» (Дальний) и др. Используются мемуары, в том числе и малоизвестные, русских революционеров-большевиков, немалое количество которых оказалось в Австралии после поражения русской революции 1905–1907 гг.

Для освещения истории послереволюционной эмиграции источником послужили многочисленные воспоминания и мемуарные заметки русских эмигрантов, увидевшие свет в изданиях русской эмигрантской общины в Австралии и в современной России. Иногда это целые книги, как, например, мемуары С.А. Дичбалиса, иногда коротенькие, подчас на две странички, зарисовки, публиковавшиеся в большом количестве в сиднейском журнале русских эмигрантов «Австралиада». Г.И. Каневской, побывавшей в Австралии, удалось познакомиться с русской эмигрантской периодикой — газетами и журналами, которые издавались русскими в Австралии и полные комплекты которых отсутствуют в библиотеках России («Путь эмиг-

ранта», «Русский в Австралии», «Единение» и др.). Этот круг источников позволил судить о духовной и культурной жизни русской общины и, что особенно важно, об идейных борениях, связанных с формированием отношения изгнанников к СССР и к их новой родине Австралии. В монографии Г.И. Каневской использованы также записи личных бесед автора с эмигрантами и — из-за относительной кратковременности пребывания в Австралии в несколько меньшей степени — материалы из австралийских архивов. Привлечены, разумеется, и многочисленные статистические и демографические справочники, изданные в СССР, России и Австралии.

История русской эмиграции в Австралию рассматривается на широком фоне исторических событий XX в. и увязывается с политическими и экономическими изменениями как в России и СССР, так и в Австралии. Впервые в отечественной историографии освещается эволюция австралийской иммиграционной политики (С. 87–95). Если в начале XX в. Австралия была практически открыта для всех белых переселенцев, то в межвоенные десятилетия, особенно в годы мирового экономического кризиса, эта страна притормозила эмиграцию. Послевоенные реалии, напротив, вынудили австралийские власти широко открыть ворота страны для белых (не азиатских) переселенцев. Причина этих изменений отнюдь не только в нехватке рабочей силы, но и в том, что Вторая мировая война показала уязвимость малозаселенной страны, какой была в то время Австралия. Правительство Австралийского Союза вынужденно переходит к политике энергичного привлечения эмигрантов.

Г.И. Каневская предлагает свою периодизацию русской эмиграции и ставит, по сути дела, точку в этом вопросе. Дело в том, что эмигрантские издания изрядно запутали вопрос о периодизации. Ряд общественных деятелей русской эмигрантской общины склонны считать русской эмиграцией только этнических русских, да и то лишь тех, кто в Австралии сумел сохранить свою «русскость» и «православность». Соответственно и периодизацию процесса переселения выходцев из России в Австралию они предлагают строить исходя из этого критерия¹. Мало того, что такой клерикально-националистический подход не имеет ничего общего с научной периодизацией, так он еще и не осуществим, поскольку австралийская статистика дает данные не по национальности и религиозной принадлежности, а по странам исхода. Г.И. Каневская предлагает положить в основу периодизации прежде всего причины эмигра-

¹ См.: [История русских в Австралии 2004: 129–135].

ции, не отвергая, разумеется, необходимости учета культурной (именно культурной, а не этнической) самоидентификации эмигрантов как русских. В итоге автор предлагает выделить пять волн эмиграции: первая (конец XIX — начало XX в.) — экономическая и политическая эмиграция из царской России; вторая (с 1923 г. до начала Второй мировой войны) — белая эмиграция; третья (с 1947 по 1954 гг.) — перемещенные лица (ДиПи); четвертая (с середины 1950-х до середины 1980-х гг.) — русские из коммунистического Китая (так называемые «харбинцы»); пятая (со второй половины 80-х гг. до наших дней) — современная, главным образом экономическая, эмиграция из России (С. 29–30).

Такой подход вызвал недовольство части русских австралийцев. Сразу же после выхода книги Г.И. Каневской в свет и получения ее в Австралии на автора посыпались упреки со стороны редакции русскоязычного журнала «Австралиада» (издается в Сиднее группой русских эмигрантов). Г.И. Каневскую обвинили в том, что, предлагая свою периодизацию, она смешивает понятия русский и российский и включает в число русских эмигрантов всех выходцев из России, а не только этнических русских, исповедующих православие [История прибытия россиян 2006: 15]. Деление истории русской эмиграции в Австралию на пять периодов также не было принято рядом деятелей русской общины — прежде всего теми, кто обосновался на пятом континенте после Второй мировой войны. Им откровенно не понравилось, что Г.И. Каневская «принизила» послевоенную волну русской эмиграции и поставила ее «всего лишь» на третье место. Аргументация «против» не оригинальна: традиционно первой волной русской эмиграции в мире считается послереволюционная «белая» эмиграция. «ДиПи», или послевоенные эмигранты, — это вторая волна, а эмиграция из СССР, начавшаяся в 70-е гг., считается «во всем мире» третьей волной [От редакции 2006: 16]. Следует возразить, что такая периодизация, да и то разве что в сочинениях публицистического характера, применима лишь по отношению к тем странам рассеяния, где сколько-нибудь заметного числа русских эмигрантов до 1917 г. не было — государствам Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы и Китаю. Для стран, ставших местом массовой эмиграции из России до 1917 г. (США, Канада, Аргентина, Австралия и некоторые другие), научная периодизация эмигрантских потоков не может свестись только лишь к обозначению трех волн. Этим волн было гораздо больше.

Нам представляется, что проблема периодизации носит принципиальный характер. От ее решения в конечном счете зависит вопрос, что рассматривать при изучении феномена эмиг-

рации в истории нашей страны. Можно ли под ним понимать только лишь исход этнических русских и их адаптацию в новом для них инонациональном окружении? Или в понятие эмиграции из России следует вкладывать более широкий смысл и понимать под ним процесс формирования русского Зарубежья во всей его полноте — с учетом политических, экономических, идеологических и этнокультурных факторов, подразумеваемая под русской эмиграцией отнюдь не только православных по вере, но всех тех, кто несет с собой в страны рассеяния российскую культуру и ментальность и остается русским прежде всего с этнопсихологической точки зрения? Более правомерным и плодотворным в научном отношении представляется второй подход, и именно его кладет в основу своего анализа Г.И. Каневская.

Приступая к освещению истории русской эмиграции в Австралию, автор отмечает, что первая волна экономической и революционной эмиграции на пятый континент была немногочисленной. Выходцев из России разных национальностей к 1914 г. было 10–12 тысяч человек (С. 45). Центром русской эмиграции до революции стал Брисбен как первый крупный австралийский порт на пути из русского Дальнего Востока в Австралию. Трудовая эмиграция этой волны довольно быстро ассимилировалась в англосаксонском обществе, чему особо способствовали смешанные браки русских фермеров и белых австралиек. Что касается революционеров, то они, безусловно, оказали радикализирующее воздействие на австралийское рабочее движение, однако к 1921 г. эта часть русской эмиграции в большинстве своем вернулась в Советскую Россию.

Брисбен сохранил свое значение как центр русской общины и в период второй волны — белой эмиграции в межвоенные десятилетия. От первой волны белая эмиграция отличалась своим социальным составом и культурным уровнем. В основном это были белые офицеры и представители интеллигенции. Они стремились осесть в городах, и только оказавшиеся в Австралии казаки занялись фермерством. Большая часть представителей этой волны эмиграции вынуждена была довольствоваться неквалифицированным случайным трудом, лишь немногие из эмигрантов сумели наладить свой бизнес. Высокий в целом культурный уровень второй волны русской эмиграции позволил ей сохранить основы национальной духовной жизни и оказать заметное влияние на развитие культурной жизни Австралийского Союза. Свой вклад в изобразительное искусство Австралии внес бывший офицер белой армии художник Д.И. Васильев. Исключительно большую роль в развитии музыкального искусства Австралии сыграли гастролировавшие там в 1920-е годы Ф.И. Шаляпин и А.П. Павлова.

После гастролей Павловой в Австралии началось развитие национального балета, причем, как правило, балетные школы создавали именно русские иммигранты (С. 78–80, 82). В межвоенные десятилетия русские австралийцы сумели сформировать свои культурные организации. Г.И. Каневская не только анализирует развитие процессов самоорганизации русской общины, но и освещает острую идейную борьбу, развернувшуюся среди русских эмигрантов. На страницах появившейся в Австралии русской прессы активно дискутировался вопрос: должна ли русская эмиграция прежде всего заботиться о сохранении русской культуры и духовности с тем, чтобы вернуть их Родине, которая рано или поздно освободится от большевиков, или же допустима и полезна скорейшая интеграция в англосаксонское австралийское общество. В преддверии и в годы Второй мировой войны в среде белой эмиграции прогремели также нешуточные баталии по вопросу о том, следует ли поддерживать СССР в борьбе с фашизмом или необходимо оказать поддержку Германии как силе, способной свергнуть большевиков (С. 71 и сл.).

Наиболее полно в рецензируемой монографии рассмотрена судьба третьей волны русской эмиграции — перемещенных лиц (ДиПи). После Второй мировой войны в Европе осталось примерно 800 тысяч советских граждан, из которых 50 тысяч в 1947–1952 гг. оказались в Австралии (С. 95). Автор детально анализирует положение перемещенных лиц в Европе после Второй мировой войны и причины их эмиграции в Австралию. Этот анализ представляет собой существенный вклад в важный и пока недостаточно изученный вопрос о политике союзных и советской военных администраций в послевоенной Европе по отношению к оказавшимся там россиянам. Речь идет как о советских людях, угнанных на работу в Германию, так и о тех, кто стал прислужником немцев, а также о советских военнопленных, прошедших через ад фашистских концлагерей и не желавших поменять их на ад лагерей сталинских.

Лишь немногие ДиПи выбрали Австралию как постоянное место жительства сознательно: считалось, что в этой бурно развивающейся стране легче будет найти работу. Большинство оказалось в Австралии случайно. Кто-то соблазнился красивой наглядной агитацией, а кто-то, как, например, С.А. Дичбалис, не сумев прочесть надписи на английском языке, перепутал двери и вместо помещения, где сидел оформлявший эмигрантов представитель Канады, попал в помещение, где сидел представитель Австралии (С. 112). При отборе иммигрантов австралийские власти обещали не допускать дискриминации по возрасту или расовым признакам. Однако в итоге в Австралию брали прежде всего молодых здоровых людей евро-

пейской наружности. Даже русских, родившихся в Китае, австралийцы пускали к себе неохотно. В книге особая глава посвящена мытарствам русских, бежавших из коммунистического Китая в 1949 г. и вынужденных до того, как им разрешат въезд в Австралию, три долгих года прожить на филиппинском острове Тубабао.

Большая часть русских ДиПи осела в крупных городах Австралии, прежде всего в Сиднее и Мельбурне, которые сменили Брисбен в качестве главных центров расселения русских. В специальной главе (С. 146–161) всесторонне исследуются проблемы адаптации русских в Австралии. Конечно, в первые годы пребывания на пятом континенте эмигранты испытывали серьезные трудности приспособления к новой жизни. Прежде всего, русским пришлось испытать сильный культурный шок. Иные привычки австралийцев в быту, однообразная и невкусная по русским понятиям австралийская кухня, «простецкая» манера одеваться — все поначалу раздражало эмигрантов, вызывало чувство тревоги. Сюда следует добавить языковой барьер, непризнание австралийцами российских и европейских дипломов, предубеждение местного населения против чужаков. Психологическое напряжение первых лет жизни в Австралии существенно влияло на темпы и формы адаптации в инокультурной среде (С. 149). Отчужденность русских австралийцев от остальных жителей страны усиливали тенденции к единению со своими соотечественниками, стремление поселиться рядом друг с другом. Между тем послевоенный экономический бум в Австралии и связанное с ним почти полное отсутствие безработицы облегчили большинству эмигрантов решение задачи устройства своей жизни на новом месте. Со временем большинство приехавших в Австралию достигло относительного социального и материального благополучия. Г.И. Каневская подчеркивает в этой связи важную роль такого фактора, как невысокий уровень жизненных притязаний русских эмигрантов. Отсутствие завышенных ожиданий в сочетании с высоким культурным уровнем позволило русским иммигрантам развивать процесс этнокультурного взаимодействия с новым англосаксонским окружением в виде интеграции. Русским удалось избежать как ассимиляции, то есть полной утраты своей национальной идентичности и растворения в австралийском обществе, так и сегрегации, при которой отсутствует культурное взаимодействие и сохраняется своя этническая культура при почти полном отсутствии взаимодействия со страной-реципиентом. Русские именно *интегрировались* в австралийскую жизнь, то есть сумели сохранить свою русскую идентичность и в то же время идентифицировать себя с австралийской культурой. В качестве примера успешной самореализации русских ДиПи в

Австралии Г.И. Каневская рассказывает о существенном вкладе русских инженеров, технических специалистов и строителей в развитие экономики этой страны.

В послевоенные годы возникают новые общественные объединения русских эмигрантов, вновь начинает издаваться русская пресса. Подробный анализ создания и деятельности этих организаций, содержания и идейной направленности русских изданий в Австралии принадлежит к числу несомненных достоинств рецензируемой монографии. То же можно сказать и об анализе формирования и деятельности православных русских приходов в Австралии. Православная церковь, как подчеркивает Г.И. Каневская, стала одним из важнейших центростремительных факторов жизни русской общины. Она содействовала ее сохранению и консолидации в условиях, когда заботы повседневной жизни и неизбежное ассимиляторское воздействие англосаксонского окружения усиливали тенденции к распаду русского сообщества Австралии.

Отметим и те страницы книги, где говорится об отношении к русской диаспоре австралийского общества и правящих кругов страны. Вслед за некоторой настороженностью по отношению к русским (не коммунисты ли они?), которая последовала за началом холодной войны, австралийские власти сменили гнев на милость. Русских эмигрантов с их антисоветскими настроениями стали воспринимать как своего рода живых свидетелей ущерба коммунизма. Эмигранты, как считалось в Австралии, самим фактом своего присутствия в стране разоблачают коммунистическую пропаганду (С. 204–205). Своеобразную направленность в условиях разгоравшейся холодной войны пробрели идейные разногласия в русской общине. Многие эмигранты из числа ДиПи не были сколь-нибудь убежденными противниками Советской власти. Злой рок, а не сознательный выбор заставили их расстаться с Родиной. Они подчас испытывали чувство ностальгии, с симпатией следили за успехами СССР. Это вызывало протест со стороны старой эмиграции, в большинстве своем состоявшей из непреклонных антисоветчиков и противников коммунизма.

Следует подчеркнуть, что Г.И. Каневская на протяжении почти всей книги выдерживает объективную тональность изложения, избегая высказывать откровенные симпатии или антипатии к каким-либо лицам, политическим силам или идейным течениям. Лишь на С. 219 встречается фраза об обосновавшихся в Австралии власовцах, которые расцениваются как борцы за свободу. При этом одна из организаций-наследников власовцев в Австралии даже причислена к лево-демократической части политического спектра. Оценка сражавшихся вместе с

Вермахтом выходцев из России как борцов за свободу представляется, по меньшей мере, спорной — вполне понятная ненависть эмигрантов к коммунистическому режиму в СССР вряд ли может служить оправданием их сотрудничества с гитлеровским фашизмом.

Выскажем также упрек — впрочем, уже, скорее, не к автору, а к издателям монографии, по поводу отсутствия иллюстраций, более чем уместных в книге на тему эмиграции. Несомненна вина публикаторов и в том, что в монографии слишком много опечаток. Они встречаются даже в указании страниц в оглавлении.

В целом монография Г.И. Каневской представляет собой существенный вклад в изучение истории русской эмиграции в Австралии. Остается высказать пожелание, чтобы начатые исследования были продолжены: история русских на пятом континенте во второй половине XX в. представляет не меньший интерес, прежде всего с этнокультурной точки зрения. В Австралии появляются новые волны эмиграции из России, причем проблему сохранения своей русской идентичности русская диаспора в Австралии решает теперь в условиях мультикультурализма. Эта национальная политика, официально одобренная правительством Австралийского Союза, предусматривает возможность сохранения многочисленными национальными общинами страны своей национальной самобытности и, как считается, обеспечивает их «мягкую», безболезненную интеграцию в англосаксонское австралийское общество.

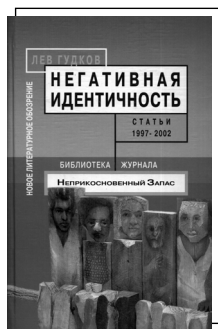
Библиография

- Донских О.А.* К столетию Австралийской федерации // Австралиада. 2002. № 30. С. 20–21.
- История русских в Австралии / Отв. ред. Н.А. Мельникова. Сидней, 2004. Т. 1.
- [История прибытия россиян] От редакции: История прибытия россиян в Австралию // Австралиада. 2006. № 48. С. 14–15.
- От редакции // Австралиада. 2006. № 49. С. 15–16.
- Петриковская А.С.* Российское эхо в культуре Австралии. М., 2002. С. 152–183.

Александр Массов



Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.
Ключевые идеи русской языковой картины мира.
 М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с.



Гудков Л. *Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов.* М.: Новое литературное обозрение, ВЦИОМ-А, 2004. 816 с.

В последние три десятилетия проблема русской национальной идентичности вызвала к жизни бурный и продолжающийся пополняться поток публикаций. Многие из них вернее было бы проводить по ведомству исходных данных для аналитического рассмотрения — речь идет о сочинениях не столько исследовательских, сколько идеологических¹. Однако имеется достаточно значительный корпус действительно академических работ, написанных как русскими, так и иностранными авторами. Часть научной литературы носит характер перифрас-

¹ Речь идет о политических памфлетах и программах, а также прочих рассуждениях — или, точнее, отсылках — к теме «национальной идеи». Работы такого рода иногда претендуют на научность, как, например, составленный Евгением Троицким сборник «Русская молодежь. Демографическая ситуация. Миграции» (М., 2004), изданный так называемой «Ассоциацией по комплексному изучению русского народа» и являющийся на самом деле откровенно пропагандистским [Троицкий 2004]. В упомянутом издании сетования на тему «геноцида русского народа» соседствуют с поучениями о том, как следует вести себя «русскому человеку» («Памятка русскому человеку», например, дает такие советы: «Соблюдайте сдержанность в отношении спиртного», «Ведите здоровый образ жизни», «Храните русскую честь» и «Русский — помоги православному, русскому, славянину, другу Отечества»), а также с антологией патриотических текстов, в которых пророками поддержания «национальных традиций» предстают такие неожиданные персонажи, как Антон Макаренко.

тический или обзорный, в них существующие тексты на тему «национальной идеи» исследуются и помещаются в определенный политический контекст (это, например, работы Джона Данлопа [Dunlop 1983; 1985; 1993], а также, в определенной степени, книга Ицхака М. Брудны [Brudny 1998]). Другие, как, например, социолог Роджерс Брубейкер [Brubaker 1996; 2004] (см. также: [Тишков 2003]) делают акцент на институциональных механизмах того, что Брубейкер называет «идентификацией» и «социальной солидарностью», например, рассматривается использование понятия «национальность» в качестве опорной категории в данных социологических опросов или понятия «этнуса» как материальной концепции в академических дискуссиях. В книгах такого рода национальная идентичность предстает «собакой, которая не лает», до странности бездействующей политической и социальной силой, не оправдавшей ужасных предсказаний, которые были сделаны в первые годы после распада Советского Союза. Кроме того, существует третья группа книг, посвященных потенциальной мощи, которой обладает идея национальной особенности России, и специфичности феномена «русской ментальности». К этой группе принадлежат исследования американских антропологов Дейла Пезмена [Pesmen 2000] и Нэнси Рис [Ries 1997]. В этих и родственных им исследованиях демонстрируется, как происходит строительство национальной культуры снизу — процесс, на который могут иметь влияние популярные представления о различиях (а не только те, что приняты официальными институтами и политическими идеологиями). Авторы этих работ, соглашаясь с тем, что «русскость» — это конструкт, в отличие от тех, кто придерживается представления о том, что воздействие идет «сверху вниз», считают его конструктом весьма динамичным и влиятельным¹. Две рецензируемые книги при всем различии их научных ориентаций и радикальном несопадении эмоциональных позиций также, каждая по-своему, включены в эту тенденцию подчеркивания национальной специфичности.

«Ключевые идеи русской языковой картины мира» — это сборник эссе, первоначально публиковавшихся в самых разнообразных местах, однако объединенных общими концепциями и методологическими принципами. Основной мотив сборника восходит к «этнолингвистике» в том ее понимании, ко-

¹ Сравните пассаж из книги Хилари Пилкингтон «Миграция, перемещение и идентичность в постсоветской России» [Pilkington 1998], где автор утверждает, что абстрактность постмодернистских представлений об идентичности делает их как будто неуместными в русском контексте; или слова русского историка, процитированные Эдвардом Эктоном в докладе на тему «Гуманитарные науки и „Европа“» (конференция «Будущее гуманитарных наук». Оксфорд, март 2004): «Кризис идентичности? Нет у нас никакого кризиса идентичности. Мы точно знаем, кто мы сами. А все прочее — страшный сон».

торое воплощено в работах Юрия Апресяна, Ежи Бартминского и в особенности Анны Вежбицки, эссе которой «Русские культурные скрипты и их отражение в языке» (впервые: Русский язык в научном освещении. 2002. № 2) помещено в этом издании в качестве приложения. Признавая существование ряда общих опорных концепций (выражений индивидуальности — «я» и «ты», «тот», «другой»; этических представлений — «хороший», «плохой», «правдивый» и «ложный»; характеристик физических состояний — «большой», «маленький», «мертвый», «живой»; маркеров положения — «здесь» и «там»; а также характеристик базовых видов человеческой деятельности — «делать», «хотеть», «чувствовать», «видеть»)¹, эта система интерпретации занята в первую очередь различием. Признавая, с одной стороны, что ключевые понятия в конечном счете поддаются интерпретации: *«Самое главное для меня то, что на языке этих понятий можно что-то объяснить любому человеку, любому папуасу, любому австралийцу — даже русские ключевые понятия, такие как „душа“, „судьба“ и „тоска“, даже русскую наивную картину мира, даже русские наивные правила человеческого поведения (и в том числе правила речевого поведения)»* (С. 470), — Вежбицка одновременно настаивает на том, что эти ключевые понятия обладают специфичностью, не подлежащей передаче: *«В разных культурах и в разных языках отражаются разные иерархии ценностей»* (С. 498). Следовательно, задача исследователя культур заключается в том, чтобы, используя (предположительно не слишком точный) «язык универсальных понятий», прокомментировать ряд более сложных концепций, «ключевых идей», которые сами являются частью того, что Вежбицка, вслед за Бартминским, называет «культурными скриптами». Эта деятельность рисуется в утопическом ключе как вклад во всемирное взаимопонимание. В рамках этой модели участники культурного обмена приобретают статус неизбежно чуждых по отношению друг к другу, однако реагируют они на это положение с толерантной любознательностью. В качестве этического принципа это, конечно, в некоторых отношениях достойно восхищения: никто не спорит, что уважительное отношение к непохожести является важнейшим условием цивилизованного общения. Опасность же — не миновавшая, как мы увидим далее, рецензируемый сборник — заключается в том, что ощущение личности отдельной языковой культуры, приходя в столкновение с другими языками, рискует превратиться из возможности для самообогащения в соблазн самоутверждения: вместо того, чтобы смиренно согласиться с тем, что существуют такие области человеческого

¹ Классификация моя — Вежбицка дает просто список понятий без объяснений («Таблица универсальных понятий», С. 470).

опыта, для передачи которых лучше подходят другие языки, и что именно поэтому есть смысл их изучать, исследователь предается самодовольному самовосхвалению («конечно, мы на языке А описываем чувства гораздо тоньше, чем они это делают на языке Б»).

Основываясь на идее непереводаемости, т.е. считая, что ключевое понятие может быть объяснено только через парафраз или пространную интерпретацию¹, Зализняк, Левонтина и Шмелев сознательно сосредоточивают свое внимание на «ключевых идеях», т.е. понятиях, которые свойственны исключительно русскому языку и при этом характеризуют некую идиосинкразическую черту ментальности носителей этого языка. Во вступлении авторы отмечают:

[Ключевые] слова являются *лингвоспецифичными* — в том смысле, что для них трудно найти лексические аналоги в других языках <...>. То, что некоторая идея является для данного языка ключевой, подтверждается, с одной стороны, тем, что эта же идея повторяется в значении других слов и выражений, а также иногда синтаксических конструкций и даже словообразовательных моделей, а с другой стороны — тем, что именно эти слова хуже других переводятся на иностранные языки. Заметим, что их переводные аналоги не являются подлинными эквивалентами именно ввиду отсутствия в их значении этих специфичных для данного языка идей (С. 10).

Авторы охотно находят подтверждение идеи непереводаемости в наличии в русском языке пар понятий, одно из которых может быть успешно переведено на «другие языки» (какие именно, не уточняется, вероятно, имеются в виду широко распространенные в мире языки так называемой индоевропейской семьи — по крайней мере, примеры авторы приводят почти исключительно из английского, с редкими вкраплениями других языков, в основном немецкого и французского). Среди таких пар («лингвоспецифичный» элемент всегда дается первым) «собираться — намереваться», «постараться — попытаться», «стыдно — совестно», «жалко — обидно».

На самом деле по крайней мере некоторые нюансы значения этих дублетов можно передать, обратившись к таким английским парам, как *to be about to/to intend, to try/to attempt, ashamed/conscience-stricken, it's a pity/it's a pain*. Но тут неизбежно возникают разнообразные вопросы о регистре и контексте, так что давайте пока останемся вместе с авторами сборника и посмотрим, какие «ключевые идеи» они считают центральными в «русской» картине мира.

¹ Ср. распространенное в антропологии понятие «культурного перевода».

1. Идея непредсказуемости мира.
2. Представление, что главное — это собраться.
3. Представление о том, что, для того чтобы человеку было хорошо внутри, ему необходимо большое пространство; однако если это пространство необжитое, это тоже создает внутренний дискомфорт (*удаль, воля, раздолье, размах, ширь, широта души, маяться, неприкаянный, добираться*) [здесь можно добавить *давать*, также принадлежащее к типу словесных пар, с переводимым эквивалентом *дарить* — странным образом, авторы этого не заметили. — К.К.].
4. Внимание к нюансам человеческих отношений (*общение, отношения, попрек, обида, родной, разлука, соскучиться*).
5. Идея справедливости (*справедливость, правда, обман*).
6. Оппозиция «высокое — низкое» (*быт — бытие, истина — правда, долг — обязанность, добро — благо, радость — удовольствие; счастье*).
7. Идея, что хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует (*искренний, хохотать, душа нараспашку*).
8. Идея, что плохо, когда человек действует из соображений практической выгоды (*расчетливый, мелочный, удаль, размах*) [здесь подошло бы также *попрекать*, которое почему-то пропущено] (С. 11).

Аргументация, как нетрудно заметить, движется по кругу: ключевые слова идентифицируются по признаку их непереводаемости, а определяющим свойством ключевых слов объявляется то, что они не поддаются переводу. Так, например, в эссе Зализняк, посвященном понятию *счастье*, представление о счастье как внезапном, неожиданном и мощном всплеске радости противопоставляется английскому слову *happy*, которое, по сути, эквивалентно русскому *довольный* (С. 169). С этим не поспоришь, однако гораздо большие сомнения вызывает вывод, который делает автор, будто «*соотношение в паре наслаждаться — to enjoy аналогично соотношению счастлив — happy; эти расхождения имеют системный характер и коренятся в устройстве соответствующих языковых картин мира*» (С. 174). Если бы Зализняк хотела рассмотреть эту проблему корректно, ей следовало бы, очевидно, обратиться, с одной стороны, к английскому *overjoyed* и, с другой — *relish* — словам, которые гораздо ближе к русским понятиям, чем те английские эквиваленты, на которых она остановилась. Оба эти слова распространены в английском языке достаточно широко, вывод же можно было сделать такой: различие между английским и русским языками лежит не столько в способности выражать

чувства, сколько в причинах структурного характера (например, в большой роли, которую играют в английском наречные определения и глагольные словосочетания, компенсирующие относительное отсутствие гибкости в отношении префиксов).

Манера аргументации такова: русские слова имеют особенные значения потому, что их значение особенное. Равно как и типы выделенных автором «ключевых идей» соответствуют традиционному репертуару «автостереотипных» мотивов «мягкого» славянофильства: русские непредсказуемы, щедры, великодушны, порывисты. Такой подход, судя по всему, помешал автору обратиться к детальному анализу тех трудно переводимых слов, которые репрезентируют совсем иные типы человеческого поведения: например, *хитрый*, *мудрый* (не только в положительном, но и в отрицательном смысле), *толковый*, *опрятный*. Рецензируемое исследование отличает также необъявленное, но достаточно заметное предпочтение, которое отдается словам со славянскими корнями, так что вне поля зрения остаются такие широко используемые и культурно специфичные слова, как *нормальный*, *аккуратный*, не говоря уже о *стебе*. Кроме того, все ключевые идеи берутся лишь из эмоциональной и этической сферы — отсутствует анализ таких исключительно характерных и совершенно непереводаемых слов, как *произвол*, ничего не говорится об оттенках различия между русским *право* и английским понятием *right*¹. Из поля зрения исследователей ускользнули такие понятия, как *пьянство* и *насилие*, которые традиционно считаются весьма национально специфичными и которые, кроме того, поставили бы под вопрос критерий «особенности», ведь, насколько мне известно, нет такой человеческой культуры, где понятия насилия и опьянения не могли бы быть выражены достаточно сжато и красноречиво.

Серьезные сомнения вызывает и характер приводимого для сравнения языкового материала. Отрицания, приводимые в качестве доказательств («слово X, выражающее понятие Y, не существует в языке Z»), могут вызвать вопросы. Однако авторы сборника по непонятной причине решили не обращаться к помощи носителей языка, которые могли бы пояснить оттенки значения, не описанные в словарях, дать языковые комментарии, а также поделиться мнением по поводу того весьма ограниченного и произвольного набора беллетристических сочинений, из которых берутся примеры. Проведи авторы

¹ Русское выражение *права и обязанности* — это штамп, однако по-английски «rights and duties of the citizen» звучит довольно странно, как и буквальный перевод русского выражения *я не имею права* — по-английски естественнее сказать «You don't have the right to tell me that». Можно сделать вывод, что русское *право* относится к более узкой области автономии и действия, чем английское *right*.

работу с англоговорящими информантами, они бы выяснили, например, что отрицательный оттенок русского *умный* отлично передается английским *clever* ('too clever by half'); что *досадно* легко поддается переводу на английский; что утверждение «друга» — *friend*, уточняемое лишь различными определениями — чушь: а как же *mate*, *pal*, *buddy*, *companion*, *girlfriend* (в смысле близкой подруги женщины средних лет), *chum*, *mucker* и пр.? С другой стороны, если берешь «русские» примеры в основном из литературных источников, то изволь таким же образом работать с «английскими»: так, можно было бы обратить внимание на многообразные оттенки английского *happiness*, звучащие в блестящем фильме Годда Солондза с одноименным названием, или поразмыслить над смыслом *enjoy* в шекспировском английском (где оно может иметь значение «получать сексуальное удовольствие»). Давать определение всего круга значений последнего слова через беглое упоминание клише из американского ресторанного быта «Enjoy your meal» — недопустимое упрощение.

Какой, собственно, смысл содержится в самом понятии «ключевой идеи»? Параллельный ряд ключевых идей из британского английского мог бы включать в себя *fair*, *whimsy* (особый фантастический юмор, иногда граничащий с сентиментальностью), *grant* (в значении «делать доступным», и также в словосочетании *to take for granted*, которое является зеркальным обвинительным вариантом к русскому *попрекать*, в смысле «как ты смеешь предполагать, что я готов сделать это для тебя, не ожидая признания?»), не говоря уже об интереснейшем комплексе смыслов вокруг *self* — как в представлении о внутреннем «я», в смысле защиты и одобрения (*self-aware*) или критики (*selfish*, *self-serving*, *self-conscious*). Все эти слова можно было бы использовать для трафаретного прославления национального характера с упоминанием демократических институтов, уважения права собственности, общественной и частной благотворительности, соблюдения права личности в обществе, а также, конечно, знаменитого английского чувства юмора. Однако если отнестись к этому по сути дела легкомысленному упражнению чуть более серьезно, придется признать, что *curmudgeonly* (смесь *вредности*, *упрямства* и *самодурства*) и *self-righteous* (особенно невыносимое проявление *фарисейства*) также трудно поддаются переводу на русский и что в жизни британцев нетрудно найти множество примеров таких «культурных скриптов». Между тем подобные скрипты время от времени разыгрываются и в иных местах. Если оставаться в кругу представлений о «ключевых идеях», то оказывается невозможным понять, является ли способность критически оп-

ределять специфические свойства свидетельством распространенности (и, следовательно, в определенном смысле допустимости) этих свойств внутри данной культуры или это попытка табуировать их. Или же на самом деле происходит и то, и другое сразу? В последнем случае классификаторская роль «ключевых идей» более или менее сводится к нулю.

Подводя итоги, можно сказать, что «ключевые идеи» (если воспользоваться определением Бориса Гаспарова, данным им во вступлении к «Семиотике русской культуры», и имея в виду работы Б. Успенского и Ю. Лотмана) принадлежат к категории не столько «метатекстов», сколько «текстов русской культуры». Собранные в рецензируемом сборнике статьи прежде всего декларируют наличие национальной специфики, а не анализируют рациональные основания такого утверждения. По ходу дела упускаются из виду некоторые вопросы о границах национальной исключительности. Неужели действительно не существует «не-универсальных» компонентов национальной ментальности, которые можно непосредственно идентифицировать с компонентами национальной ментальности (неких, каких-то) других языковых групп? Если дело обстоит именно так, то как быть билингуам (которые, надо полагать, страдают в колодках некоего мучительного когнитивного диссонанса, граничащего с шизофренией)? В каком возрасте изучающий язык становится счастливым обладателем (или узником) его «ключевых идей»? И как обстоит дело с теми, кто, зная некий язык с детства, говорит на нем за пределами его «исторической родины»? Понимает ли нигериец смысл слова *fair* так же, как уроженец Ньюкасла, и что имеет в виду обрусевший бурят, употребляя слово *душа*? Может быть, к русскому *воля* ближе американское понятие *liberty* (на просторах их прерий и гор), чем тот смысл, который вкладывают в него британцы? Если учесть эти «пограничные случаи», много ли останется от самой идеи совпадения культуры и языка?

Такого рода вопросы указывают на то, что для корректного описания коммуникации и ментальности необходимо учитывать способность индивидуумов-носителей языка и социальных групп *сознательно* работать с языком (а не просто безвольно воспроизводить стереотипы или выражать «наивное мироощущение»). Вряд ли найдется два русскоговорящих человека, которые бы абсолютно одинаково понимали смысл слова *душа* или, например, *расчетливость* (признавая такую возможность, Бартминский предлагает использовать в качестве инструмента исследования опросные листы и анкеты) [Бартминский 2005: 192]. Более полезным представляется количественный анализ в форме интервью, охватывающих широкий социальный спектр информантов, поскольку таким образом можно выяснить ин-

дивидуальные языковые ассоциативные связи и мотивировки, лежащие в основе того или иного лексического выбора. В определенном смысле этнолингвистика тотализующего типа, которую практикуют авторы сборника «Ключевые идеи» (в противоположность иному употреблению этого термина для описания исследований, сосредоточенных, например, на исследовании смысла слова *правда* в русской крестьянской культуре XIX в.), сама является выражением несколько «наивного» мировосприятия — чем-то вроде лингвистического варианта этнографии в традиции Геродота: «традиция» «по-нашему» — это вино смешивать с водой, а бороды стричь, тогда как «у них» «традиция» — это лакать его неразбавленным и ходить растрепой. Это позиция не столько *пост*структуралистская, сколько *пред*структуралистская: представление Зализняк, Левонтиной и Шмелевой о некоем недифференцированном носителе языка коренится в романтической идее национального языка как отражения трансцендентного и неотчуждаемого единства самого народа.

Неудивительно, что авторы упускают из виду и языковые варианты иного рода. Как известно, представления о смысле слов претерпевают изменения во времени¹ — однако диахроническая эволюция авторами сборника игнорируется совершенно. Так, Зализняк несомненно справедливо утверждает, что коннотации русского слова *счастье* в отличие от английского *happiness* традиционно связаны с тем, что случается внезапно и чего «немножко стыдно»². Но в языке советской пропаганды выражение *счастливое детство* имело совсем другой смысл, а именно состояние, которым вполне можно наслаждаться и стремиться к нему и возможность которого гарантирована советской властью (при Сталине — лично вождем). Весьма полезно было бы исследовать, как такого рода идеологические коннотации укоренились в народной речи — ведь нельзя не заметить некоторого сходства между «советским» (в противоположность православному) пониманием слова *совесть* и его использованием в обыденной речи.

Зализняк, Левонтина и Шмелев могли бы возразить мне, что их интересовали понятия, распространенные в качестве «ключевых идей» в среде образованных русских — иными словами,

¹ См. замечательный сборник статей, исследующих неустойчивый статус культурных символов [Богданов 2006], где показано, например, как крокодилы воспринимались в разных контекстах и как символы самой сути иностранного, и как способ утверждения местных претензий на всемирную значимость — например, в недавних националистических утверждениях, что крокодил — это на самом деле русское слово, что крокодилы отродясь водились в реках северной России и проч.

² Впрочем, это, конечно, универсальная идея всех христианских культур, ср. французское понятие *un embarras de richesse* или английское *an embarrassment of riches*.

что они ставили своей задачей каталогизировать репрезентации ментальности и представления о ней, а не собственно саму ментальность. И действительно, многие из выбранных ими понятий — например, *быт* и *пошлость* — имеют богатую историю в автоопределениях «русскости». Поэтому же в книге можно найти множество любопытных сведений об индивидуальных словоупотреблениях конкретных авторов: это, не говоря уже об увлекательных рассказах об оттенках значений таких слов, как *надрыв*, *обидно*, *попреки* (привлекавших гораздо меньше внимания, чем вездесущая *пошлость*), определяет ценность книги. Но хотелось бы увидеть более внятную рефлексию о роли, которую предполагаемые ключевые понятия играют в том, что можно обозначить как «дискурс национального» — в спорах о русскости, вместо вольных импровизаций на тему «говорить на русском» (перефразируя «говорить на большевицком» Стивена Коткина). В общем, можно сказать так: это увлекательная, занятая книга, на которую я с радостью укажу студентам. Однако если подходить к рецензируемому изданию с аналитической критикой, оно несколько беспомощно, и неразмысляющий энтузиазм его авторов по поводу мифически понимаемого русского языка то и дело заставлял меня задумываться: а не настала ли пора, опираясь на недавнее исследование, проведенное Валерием Тишковым, этноса как конструкции, а не как реальности, существование которой доступно объективной проверке, произнести «реквием по этнолингвистике» такого тотализующего типа?

Книга Льва Гудкова «Негативная идентичность» рисует совсем иную картину русской культуры, хотя понятия интеллектуального аппарата до странности схожи с теми, что были использованы в первой рецензируемой книге. Здесь «ключевыми идеями» становятся именно такие понятия, как *произвол*, *безнаказанность* и *стеб* (это слово Гудков использует неодобрительно, видя за ним явление, свидетельствующее об озлобленном или невротическом безразличии к политике, болезненном симптоме постсоветского русского общества). Гудков считает, что политические трудности последних лет связаны не только и даже, пожалуй, не столько с крахом экономики (хотя он признает возможность корреляции между экономическим крахом 1998 г. и ростом ксенофобских и/или националистических настроений, зафиксированных в опросах общественного мнения, проводившихся в конце 1990-х гг.). В равной, если не в большей степени они связаны с психологией позднесоветского/постсоветского *простого человека* (его Гудков также именуется *типовым человеком*), который представляет собой плод жесткой политической и культурной регламентации, вершившейся при советской власти:

В системе образования это обязательная, принудительная школьная программа или общие курсы в вузах, отсутствие автономного интереса или собственного любопытства. В повседневности это наши жилые дома с квартирами-клетушками (кто-нибудь помнит, интересно, какой размер у «каморки», в которой жил Раскольников, и кто-нибудь сравнивал его с нашим стандартом жилплощади?). Это наша «бесплатная» медицина, это произвол милиции, это наша армия...

Можно сказать, что каждый типовой человек в подобной системе становится заложником ближайшего социального окружения, чьи стандарты и привычки снижены в сравнении с собственными возможностями любого из действующих. Что бы то ни было ценное и значимое проявляется лишь в качестве негатива этого «как все», в виде отталкивания от упрощенной матрицы «общепринятой» социальности. Таким образом, возникшая в позднесоветские времена странная внутренняя структура человека не может быть непосредственно артикулирована. Собственные позитивные мотивы и представления индивида в принципе не могут быть определены более или менее четко, поскольку они обретают существенность и формы выражения только в виде негативных значений, чаще всего — в виде различных страхов. Главные или наиболее важные среди них — страх неудачи, парализующий достижительский комплекс мотивации, либо страх коллективной репрессивности, враждебности окружающих, которая может отторгнуть индивида от «целого». Иначе говоря, индивид в советской системе постоянно обречен на атомизированное существование, изолированное от одобряющей и поддерживающей солидарности с Другим, другими (С. 343–344).

Процитированный пассаж взят нами из статьи на тему чеченского кризиса «„Чеченский тупик“: Прогноз? Диагноз?», впервые опубликованной в 2000–2001 гг. Впрочем, время написания и конкретный повод в определенном смысле безразличны: во всех эссе принципиальная позиция Гудкова сводится к неутомимому выявлению черт «негативной идентичности». Любые «позитивные мотивы и представления» — это лишь другая сторона индивидуального страха и ненависти (или, если формулировать более точно, страха и ненависти, испытываемых социальным субъектом, поскольку в описываемой Гудковым ситуации каждый человек оказывается продуктом подчинения подавляющим нормативным правилам). Таким образом, «негативная идентичность» обозначает не только идентичность, в которой доминируют такие психологически разрушительные формы поведения, как агрессия, но также (по аналогии с фотографией) своеобразную форму самоидентификации, где каждое проявление имеет свою темную, негативную сторону.

Склонность автора к выстраиванию своей аргументации вокруг метафоры инверсии приобретает навязчивый характер. В эссе о России как «традиционном обществе» («Россия — „переходное общество“?»), Гудков утверждает: «*Можно сказать, что гипертрофированное доверие к нынешнему президенту — это перевернутое недоверие к остальным общественным структурам, инстанциям и публичным фигурам*» (С. 482). X всегда одновременно и Y; то, что может показаться на первый взгляд хорошим, при внимательном рассмотрении оказывается дурным. Так, когда респонденты, отвечая на анкету о характерных чертах русского человека и их самих, говорят, что они прежде всего *гостеприимные, открытые, простые, терпеливые, готовые помочь и миролюбивые*, на самом деле они придают положительный глянец своим базовым «пассивно-зависимым качествам», являющимся истинным основанием их ответов («Структура и характер национальной идентичности в России», С. 136–138). Иными словами, вера в русскую национальную способность, например к *отзывчивости*, возникает как проявление того, что марксисты назвали бы ложным сознанием, а экзистенциалисты *mauvaise foi*.

Таким образом, для Гудкова Россия — это общество, где вся болтовня об альтруизме не в силах прикрыть подлинный звериный оскал. Прочитируем снова эссе о Чечне: «*Говорить о сознании ответственности, чувстве вины тут не приходится. Это означало бы существование страны, где все же остались какие-то рудименты повседневной христианской морали, где есть начатки воображения, позволяющего одному представить, что чувствуют другие*» (С. 336). Более того, прослеживается историческая динамика: состояние вещей в нынешней России определяется прирожденной у русских склонностью меняться только к худшему:

Необходимость радикального изменения оптики анализа подтверждается множеством самых неприятных фактов, как внешних (растущей изоляцией России, возобновившейся неприязнью к российскому государству со стороны других стран, отчужденным отношением к России как к агрессивному и неумному, непредсказуемому, самоедскому сообществу, опасному и для себя, и для других), так и внутренних — усилением влияния чекистов и других силовых структур в руководстве страны, беспринципностью суда и прокуратуры, ростом внутренней агрессивности масс, коллективных фобий разного рода, болезненным национальным самомнением, равно как и деморализацией интеллектуального сообщества, принятием им «позы зародыша», и т.п. (С. 9).

В таких случаях говорят — впрочем, кажется, только по-

русски: повеситься можно¹. Очевидно, что Гудков ни в своем диагнозе проблемы, ни в прогнозах на будущее не оставляет ни малейшего основания для оптимизма. Для него постсоветское русское общество — это пораженный дисфункцией механизм, питающийся вредными мифами о России как о культуре, осаждаемой со всех сторон «врагами» — евреями, чеченцами, цыганами и иностранцами, однако проявляющей трансцендентную способность к долготерпению.

Результатом этого неуклонно одностороннего подхода стала книга, каждая страница которой провоцирует размышления. Она полна весьма остроумных замечаний по поводу политического и нравственного краха позднесоветского и постсоветского общества. Однако нельзя не отметить, что она не дотягивает до полномасштабного анализа (упорно игнорируется вопрос, почему в постсоветской России что-либо вообще должно функционировать, пусть плохо; Гудков склонен представлять себя «гласом вопиющего в пустыне», не обращая особенного внимания на усилия, например, таких авторов журналистских расследований, как Анна Политковская, благотворителей, политических лоббистов, реформаторов образовательной системы и, если уж на то пошло, других критиков общественных порядков). Местами «Негативная идентичность» читается не столько как политическое или социологическое исследование, сколько как политическая сатира или даже антиутопия². В конце концов, даже эгоизм не односторонен: как показал Федерико Варезе в своей книге «Русская мафия: частная защита в условиях новой рыночной экономики» [Varese 2000], рэкет так широко распространился в начале 1990-х гг. отчасти потому, что мафиозные банды предлагали услуги (охрана офисов, помощь в получении кредитов), которые невозможно было получить иначе в те времена слабого государственного контроля и отсутствия законодательного регулирования, должным образом защищающего права собственности. Аналогичным образом ностальгия по советскому прошлому есть не просто свидетельство массового помрачения способности к пониманию прошлого, присущего русским. Она связана с тем обстоятельством, что целые группы населения (в особенности пенсионеры) по самым объективным критериям жили гораздо лучше в 1960-е и 1970-е гг., чем в 1990-е и 2000-е. Отказываясь признать за исследуемым

¹ На английский это выражение можно буквально перевести как «You could hang yourself» (т.е. будешь готов повеситься). Другой, более остроумный вариант перевода был предложен председателем британского Букеровского комитета 2005 г. Джоном Сазерлендом, который сказал о романе-победителе ирландского писателя Джона Банвилля, что из него исходит «slit-your-throat gloom».

² Гудков в одном месте обращается к Грибоедову (Путин как Молчалин), но основной тон его статей, несомненно, щедринский.

населением способность к деятельности и рациональному выбору, Гудков демонстрирует степень политического цинизма, практически равную тому, который он справедливо осуждает в политических идеологах.

Собранные в «Негативной идентичности» эссе возникли из работы Гудкова для ВЦИОМ, некоторые из них проиллюстрированы сведениями из социологических опросов, проводившихся этим учреждением. Стандартный размер групп, подвергавшихся мониторингу, составлял около 1000 человек; мы остаемся в неведении относительно их распределения с точки зрения социального положения, пола, принадлежности к этническим меньшинствам (возможно, в России деятельность этого социологического органа настолько хорошо известна, что все читатели заведомо знакомы с принципами его работы, однако на свежий взгляд отсутствие всякого методологического комментария выглядит немного странно). Впрочем, с точки зрения, занятой Гудковым в его исследовании, вопрос социального состава в конечном счете не важен, поскольку в центре его интересов находится именно *коллективное* (т.е. однородное) сознание и происходящие внутри него процессы (как, например, атомизация восприятия), которые он считает следствием тоталитарного политического режима (С. 422). В соответствии с исходной позицией, занятой исследователем, комментарии к результатам социологических опросов неизбежно акцентируют явления «негативные», стоящие в центре базовой авторской концепции.

Например, в работе, посвященной страху («Страх как рамка понимания происходящего»), Гудков приводит данные, свидетельствующие об очень высоком уровне беспокойства за судьбы других (два максимальных значения в таблице относятся к страху войны и массового насилия — 62 % в 1992 г. и 58 % в 1993 г., и к страху «потери близких» — 47 % и 50 % соответственно). То обстоятельство, что эти страхи могут быть проявлением альтруистических порывов (пусть и весьма ограниченного характера), исследователем игнорируется.

На протяжении всей книги Гудков вращается внутри узкого теоретического пространства, обусловленного базовой идеей «негативной идентичности», как она была сформулирована Эриком Эриксоном в его книге «История личной жизни и исторический момент» [Eriksen 1975] (Гудков, кстати, нигде не упоминает о том, что понятие введено Эриксоном). Эриксен утверждал, что корни политического экстремизма лежат в неразрешенных проблемах идентичности:

Там, где развитие личности утрачивает перспективу обретения уверенной цельности, может вспыхнуть особого рода ярость: еще не ставший злостным нарушитель, будучи лишен всякой возмож-

ности войти в общество, может стать «закоренелым» преступником. В периоды коллективных кризисов подобную потенциальную ярость испытывают сразу множество людей, так что ее начинают с легкостью эксплуатировать вожди с психопатическим складом личности, задающие модель спонтанного подчинения тоталитарным учениям и догмам, для которых негативная идентичность является желательной и доминантной: так, нацисты фанатично культивировали то, что победивший Запад и более утонченные представители немецкого общества открыто осуждали как «типично германское» [Eriksen 1975: 20].

Несмотря на определенную банальность (очевидно, что «особого рода ярость» скорее проявляется в моменты «коллективных кризисов», чем во времена мира и благополучия), формулировка Эриксона содержит противоречие, связанное с предполагаемой в ней цепочкой причинно-следственных связей: как мы знаем, не всякий «коллективный кризис» заканчивается явлением типа нацизма. Нужно учитывать самые многообразные обстоятельства, связанные с горизонтом ожидания данного населения и его способностью адаптироваться к кризису. Более того, существуют личности (и группы населения), которые восторженно реагируют на кризис — ведь в годы Второй мировой войны в России (да и Британии) «негативная идентичность» проявлялась меньше, чем в первые послевоенные годы.

Временами мне приходило в голову, что критическая аргументация Гудкова была бы сильнее, обратись он к сравнительному материалу из жизни других ведущих индустриальных государств, обладающих или некогда обладавших статусом мировой державы. (Эссе о проблемах российских университетов столь удачно именно благодаря тому, что в нем детально рассматривается роль университетов в других странах, в частности в Британии и Германии, но прежде всего в Америке.) Например, вызывают глубокое беспокойство, хотя и не кажутся особенно удивительными, результаты проведенного в 1997 г. опроса, который установил, что 60 % респондентов, занимающих ответственные посты в российских государственных органах, учреждениях и проч., считают правильным отслеживать и ограничивать число евреев, занимающих такие ответственные должности (С. 243). Можно предположить, что в Британии и США — имея в виду внимание к созданию равных возможностей — в процентом соотношении число людей, занимающих сходные властные позиции и готовых высказать подобное отношение к этническим меньшинствам¹ публично

¹ Я говорю «этнические меньшинства», потому что в системе координат Гудкова, принятой в «Негативной идентичности», антисемитизм в России есть самая заметная часть более общего явления ксенофобии и шовинизма (ср. название его эссе «Антисемитизм и ксенофобия»).

(в отличие от приватной приверженности, которую, как известно, исключительно трудно измерить статистически), будет меньше. Однако интересно было бы узнать, насколько именно меньше, и не окажется ли, что во Франции, где положительное освещение колониального прошлого входило в обязательные школьные программы¹, цифры будут близки к российским. Там, где Гудков говорит на такие темы, как представление русских о том, что такое «успех» (опросы демонстрируют явную тенденцию к включению в это понятие проявлений личного счастья, например дружбы), или об их способности гордиться национальным прошлым, также хотелось бы узнать сравнительные результаты по другим странам. Подозреваю, что британские, французские или итальянские опросы (в отличие, возможно, от американских) вполне могут дать сравнимые результаты. Можно ли на основании этого сделать вывод о том, что: а) граждане этих стран также страдают от «негативной идентичности»; но если так, то тогда, следовательно, б) не существует неизбежной и необходимой корреляции между «негативной идентичностью» и экономическим и социальным нездоровьем?

В начале книги Гудков самым обезоруживающим образом просит у читателей снисхождения, признаваясь, что *«тексты писались в „рабочем порядке“, всегда наспех, в условиях хронического дефицита времени, необходимости срочно сдать заказчику очередной отчет по исследованию или запустить в производство следующий номер „Мониторинга“.* Таков обычный режим работы во ВЦИОМ» (С. 5). И действительно, в книге заметны некоторые следы спешки — например, определенная повторяемость аргументации и выражений, а также известное число ошибок и опечаток, некоторые из которых, как, например, ошибки в таблицах и др., кажутся довольно серьезными². Но саму аргументацию нельзя назвать плохо выстроенной или невнятной.

Однако общественные нравы в Западной Европе и в Америке совсем иные, поскольку образованная часть населения хорошо информирована о Холокосте и считает антисемитизм абсолютно недопустимым. Поэтому для проверки «коленного рефлекса» в Западной Европе и Америке теперь следует упоминать не «еврея», а «мусульманина» или «араба».

¹ После беспорядков осени 2005 г. раздавались мнения о необходимости отменить соответствующие законы.

² Например, судя по табл. 6 на с. 721 получается, что в 1994 г. в британских университетах не было ни одного выпускника-гуманитария, а в табл. 2 на с. 755 колонка «полное недоверие» ошибочно озаглавлена «полное доверие». Что касается сомнительных, если не прямо ошибочных утверждений, можно назвать, например, утверждение, будто *«общество США, безусловно, самое образованное из всех известных»* (С. 728), которое провоцирует множество вопросов о качестве и уровнях образования в противопоставлении с формальными цифрами учащихся; или утверждение в «советском» духе, что Оксфорд и Кембридж *«и раньше, и теперь подчинены задачам репродукции полузакрытого высшего слоя»* (С. 698), которое упускает из виду огромные изменения, произошедшие в системе британского образования после 1944 г. и в особенности в 1960-е гг. и позже.

Скорее, все проблемы этой безусловно сильной и интересной книги коренятся в том обстоятельстве, что аналитическая позиция Гудкова разработана почти чрезмерно ясно, слишком уж тверда, лишена способности к изменению под воздействием нового материала. В интересном эссе о «тоталитарной» модели советской истории он справедливо критикует нечувствительность такой модели в так называемых «тоталитарных» странах к вопросам «повседневной жизни» (С. 403–404, «„Тоталитаризм“ как теоретическая рамка»). Однако его собственные аналитические разборы зачастую вырывают популярные мнения из более широкого контекста, к которому они принадлежат¹, и редуцируют сложные эмоциональные реакции, такие как страх, к лишенным нюансов проявлениям неизменной (кроме как в постоянном движении к еще худшим крайностям) «негативной идентичности». В результате то, что могло бы стать существенной и обоснованной критикой ура-патриотизма как проявления слабости, а не силы (при всем уважении к исследователям националистического толка, которые предпочитают представлять дело ровно наоборот), оказалось критикой настолько преувеличенной, что она способна оттолкнуть даже потенциальных союзников.

Несмотря на все отличия, авторы «Ключевых слов» и «Негативной идентичности» удивительным образом исходят из общего представления о том, что «русская идентичность» состоит из совершенно стабильного, как синхронически, так и диахронически, комплекса представлений. Принципиальное различие между двумя рецензируемыми книгами заключается в том, что Гудков считает этот комплекс представлений фатально предопределенным изнутри (это обстоятельство, похоже, часто возбуждает в нем состояние, близкое к восторгу или — еще одно трудно переводимое русское слово — злорадству², хотя в пассаже о разграблении северных русских деревень, помещенном в финале чеченского эссе, вдруг проявляется его ностальгия по национальному прошлому). Сборник «Ключевые идеи» выдержан в гораздо более панегирическом тоне: проводится мысль о том, что специфичность связана с духовным превосходством. Когда какие-либо взгляды доводятся до крайности, всегда начинаешь думать, что истина лежит посередине или вне их. Ведь в конце концов, разве

¹ Проблема здесь в самом понятии «типового человека»: представление о том, что советское население обитало в абсолютно одинаковых малометражных квартирках, может прийти в голову только человеку из среды московской интеллигенции, т.е. жителю города, где активно работала система сноса ветхого жилья (т.е. переселения из коммуналок в новые дома). В провинциальных городах все годы советской власти были широко распространены коммуналки, бараки, да и частные дома.

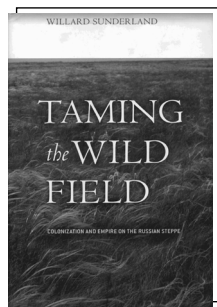
² Т.е. трудно переводимое на английский; в немецком есть слово Schadenfreude, «радость ущербу».

«традиция» (понимаемая как сознательное отношение к прошлому или как связь, создаваемая культурной инерцией) не может иметь как положительного, так и негативного смысла? И, к счастью, «русскость», по крайней мере в повседневной жизни, — гораздо более широкое, тонкое и подвижное явление, чем это представляется авторам обеих книг, которые в своем исследовании ментальности в большей или меньшей степени игнорируют в качестве объектов анализа юмор, самоумаление, парадоксальность, гиперболитичность и резкие перемены мнений, которые, к счастью, часто свойственны самим авторам и которые, о чем посторонний наблюдатель может сказать, не боясь быть уличенным в лести, столь же «типично русские», как и самопожертвование или своекорыстие, о чем эти книги, находящиеся на противоположных полюсах, свидетельствуют с восторгом или негодованием.

Библиография

- Бартминский Е.* Принципы лингвистических исследований стереотипов на примере стереотипа «мать» // Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005.
- Богданов К.А.* О крокодилах в России: Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М., 2006.
- Тишков В.* Реквием по этносу. М., 2003.
- Троицкий Е.* Русская молодежь. Демографическая ситуация. Миграции. М., 2004.
- Brubaker R.* Ethnicity without Groups. Cambridge, Mass., 2004.
- Brubaker R.* Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, UK, 1996.
- Brudny Y.M.* Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass., 1998.
- Dunlop J.* The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton, NJ, 1983.
- Dunlop J.* The New Russian Nationalism. N.Y., 1985.
- Dunlop J.* The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire. Princeton, NJ, 1993.
- Eriksen E.* Life History and the Historical Moment. N.Y., 1975.
- Pesmen D.* Russia and Soul. Ithaca., N.Y., 2000.
- Pilkington H.* Migration, Displacement, and Identity in Post-Soviet Russia. L., 1998.
- Ries N.* Russian Talk: Culture and Conversation During Perestroika. Ithaca, N.Y., 1997.
- Varese F.* The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy. Oxford, 2000.

Катриона Келли
Пер. с англ. Марии Маликовой



Willard Sunderland. *Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe.* Ithaca; London: Cornell University Press, 2004. XVII + 239 pp.

Монография американского исследователя У. Сандерленда, посвященная процессам включения в состав Русского государства зоны европейских степей в XVI–XIX вв., выражает наметившийся в западной историографии за последние десятилетия интерес к изучению формирования государственной территории России. В центре внимания автора находится обширный регион от Центральной Украины до Урала, включая Северное Причерноморье, Поволжье и Северный Кавказ, в XVI в. заселенный различными кочевыми народами (ногайцами, татарами, башкирами, позднее калмыками) и служивший источником военной угрозы для Московского государства, а к концу XIX в. превратившийся в зону преимущественно аграрного хозяйства, прочно освоенную русскими и даже включавшуюся в состав «собственно российских» территорий. Эта трансформация, а также ее отражение в официальном политическом дискурсе и литературе (научной и публицистической) служит главным предметом рецензируемого исследования. В монографии использован довольно значительный корпус разнообразных материалов по истории взаимоотношений России с ее степными соседями, включая архивные (автор работал в ряде центральных и провинциальных архивов России и Украины). Она снабжена впечатляющим справочным аппаратом и учитывает большое многообразие разного рода концепций и взглядов на рассматриваемые события.

Структурное деление монографии осуществлено в соответствии с хронологией русского освоения степных территорий. Во «Введении» (Р. 1–8) излагаются общие принципы и подходы к трактовке темы, объясняются основные термины. Первая глава «Пограничная колонизация» (Р. 11–53) затрагивает предысторию взаимоотношений русских с народами исследуемого региона, а также начальные шаги по его политической инкорпорации и земледельческой колонизации (до середины XVIII в.). Во второй главе «Просвещенная колонизация» (Р. 55–95) рассматриваются изменения, которые произошли в официальной политике по отношению к региону в царствование Екатерины II и были вызваны тенденцией интенсифицировать и рационализировать его освоение. Третья глава «Бюрократическая колонизация» (Р. 97–134) охватывает первую треть XIX в., когда распространение романтизма усилило интерес к кочевым народам региона и одновременно привело к разработке планов по их седентаризации и регулированию крестьянской колонизации степей с помощью мер бюрократического «попечительства». В четвертой главе «Реформистская колонизация» (Р. 137–174) речь идет о периоде после образования Министерства государственных имуществ (1837), которое взялось реформировать крестьянскую колонизацию с целью ее перевода на более регулярную основу, повышения материального обеспечения переселенцев и контроля над освоением территорий, максимально пригодных для земледелия. В главе также освещаются результаты изменения правительственных взглядов на широкомасштабные переселения в 1860–70-х гг. в сторону их более негативной оценки. Наконец, пятая глава «Правильная колонизация» (Р. 177–220) посвящена изучению заключительного периода в истории закрепления региона в составе России, сопровождавшегося разработкой новых моделей его освоения на научной базе. По мнению автора, с которым трудно не согласиться, к концу XIX в. основную роль в формировании переселенческой политики правительства стала играть Сибирь, тогда как территории европейского степного пояса, все больше осмыслявшиеся как часть «ядра империи», постепенно утратили свою привлекательность для крупных аграрных миграций. В «Заключении» (Р. 223–228) подытоживаются результаты исследования, даются сопоставления изучаемых процессов с европейским колониализмом Нового времени и — что довольно традиционно для западной историографии — делаются выводы о заведомой русской неискренности в официальной трактовке этих процессов. Завершает монографию краткое описание архивных источников, на которых автор строил свое изложение.

Важность темы, к которой обращается У. Сандерленд, для русской истории, несомненно, огромна. Множество вопросов

ждет своего исследования. И каждая новая книга становится большим событием.

Однако автору, на наш взгляд, как и большинству обращавшихся к этой теме исследователей, не вполне удалось освободиться от разного рода культурных стереотипов, что повлияло в итоге на декларируемые в заключительной части книги выводы.

Пожалуй, важнейший из этих стереотипов — использование в качестве теоретической основы книги понятий *империализм* и *колониализм*. Идея автора заключается в том, что освоение русскими территорий степной зоны было продиктовано империалистической политикой властей, характер и направленность которой ничем не отличались от принципов, использовавшихся западными державами при создании колониальных империй в Америке, Африке и Азии. Автор считает всецело оправданным говорить об империализме применительно к степной политике России, хотя и отмечает, что в данном случае он осуществлялся в масштабах одного, а не нескольких континентов и затрагивал хорошо известные народы, а не туземцев с некой *terra incognita*. Он выступает против интерпретации освоения степей как переселения, расселения или внутренней колонизации русских, которую он считает традиционной для российской и западной историографии, тогда как «империалистическую» трактовку русской колонизации — напротив, необычной (Р. 4). При этом, словно бы осознавая спорность своих утверждений, он определяет империализм как «*процесс <...> создания или укрепления империи*», а под империей понимает «*эффективный контроль (формальный или неформальный) имперского общества над подчиненным*» (Р. 3). Оба определения заимствованы им из книги М. Дойла «Империи» [Doyle 1986: 45, 30]. Нетрудно заметить, что такие определения применимы к процессу строительства государства в любом обществе и в любую эпоху. Разумеется, под них подпадают как европейские колониальные империи, так и Российское государство, но что дает нам столь расплывчатая аналогия? Где здесь действительно релевантные признаки, которые бы позволили продемонстрировать принципиальную общность политических структур в России и признанных колониальных державах? Их нет в этом определении; не найдет их читатель ни в основном тексте работы, ни в заключении, пусть даже автор неоднократно (и голословно) пытается уверить нас в их существовании.

Примечательно, что в своих выводах автор постоянно вынужден прибегать к разного рода оговоркам. С одной стороны, он утверждает, что в его книге делается акцент на «империализме

в колонизации», с другой — признает, что российские власти никогда не рассматривали степные регионы своей страны как явную колонию и, более того, относились к их жителям, «инородцам», с тем же патернализмом, что и к собственно русскому населению (Р. 4). В результате он не может не огорчиться, что *«колонизация степи <...> отражала и воспроизводила особо сложный вид империализма, при котором строительство империи, государства, общества и нации <...> постоянно переплетались друг с другом»* (Р. 5). Однако это очень далеко от того империализма, который в XVIII–XIX вв. практиковался европейскими державами в их колониях, чье население было как раз полностью исключено из процессов *«строительства империи, государства, общества и нации»* и отнесено к категории «людей второго сорта». Отсюда встает вопрос о полезности таких понятий, как *колониализм* и *империализм* для описания процесса освоения русскими степных регионов, коль скоро в реальной политической и социальной практике им не соответствовало никаких более или менее адекватных идеологических коррелятов. Да и о каком «империализме» может идти речь, если в конце XVII в. калмыцкий Аюка-хан сам решал, когда послать калмыков на помощь царским войскам в борьбе с крымскими татарами, а когда нет (Р. 27); если население Оренбурга — «восточного форпоста русского колониализма» в XVIII в. — изначально составляли представители чуть ли не всех народов России, включая местных башкир и казахов (Р. 47); если кочевников в самый разгар политики седентаризации поощряли «взяться за плуг» различными стимулами, такими как финансовые субсидии, бесплатные семена и орудия, причем наиболее отличившиеся из новоявленных земледельцев получали за свои заслуги императорские медали (Р. 103); если даже конфликт с калмыками, который привел к их исходу в Джунгарию в 1771 г., — самый серьезный «колониальный конфликт» в царской России — был вызван вмешательством в их дела, поскольку они рассматривались как *«русские подданные, чьей главной обязанностью было подчинение воле суверена»*, а вовсе не как опасные туземцы, подлежащие беспощадной эксплуатации или уничтожению, наподобие американских индейцев в английских колониях того же времени (Р. 57).

Автор отмечает, что он *«рассматривает колонизацию степей по преимуществу с точки зрения сознания и опыта колонизаторов, а не колонизируемых, поскольку в основной истории, которая здесь рассказывается, истории присвоения (appropriation), явно преобладали термины колонизаторов»* (Р. 2). Посмотрим, что это были за термины. Судя по всему, они должны были отображать империалистическую и колониалистскую направленность

политики российских властей, которую призвана раскрыть рецензируемая монография. Однако, к своему удивлению, мы обнаруживаем, что *«ничего в официальном языке колонизации не выражало более серьезных политических или экономических актов инкорпорации или доминирования метрополии над подвластной территорией, хотя эти понятия явно содержались в европейской колонизационной терминологии»* (Р. 88–89). Для европейцев *«колония <...> была захваченной областью, которая затем заселялась колонистами извне»*. Напротив, в России конца XVIII в. термин *колония* обозначал *«просто национальный анклав или поселение, в особенности поселение иностранцев»* (Р. 89). На стадии «бюрократической колонизации» (с начала XIX в.) степь также никогда не рассматривалась в официальном дискурсе как колония. Напротив, ее относили к «существенной части» российской территории, поскольку в древности она входила в состав Русского государства (Р. 110–111). Сами термины *колонизация* и *колонисты* стали широко употребляться только начиная с 1860-х гг., причем в тех смыслах, в которых прежде употреблялись термины *переселение* и *переселенцы*, преимущественно по отношению к крестьянскому заселению приграничных регионов (Р. 156–158). Тем не менее, хотя *«европейская степь в целом никогда не описывалась как колония <...> намек на колониальный статус кажется очевидным»* (Р. 89). Странная логика!

К чему же привел злополучный «русский империализм», столь долгое время определявший статус степных регионов в составе России? По словам автора, он обусловил явный упадок нómáдизма *«как образа жизни в европейских степях»* к концу XIX в., однако *«это не было вызвано каким-либо связным представлением об ассимиляции со стороны Санкт-Петербурга или его представителей на местах»*. Более того, *«этот упадок нельзя приписать также и бесспорным достижениям носителей русской культуры более плебейского происхождения»*, т.е. простых крестьян (Р. 215). Получается, что упадок произошел, но «империализм» в лице его творцов и основных проводников оказался к этому парадоксальным образом непричастен. Вообще, какое бы явление из тех, которые упомянуты в книге, мы ни взяли, его связь с мифическим «империализмом» оказывается более чем сомнительной, что в конечном итоге и вынуждает автора подозревать всю русскую историографию, а вместе с ней и весь корпус русских документальных источников, от самых начал и до нашего времени, в умышленной предвзятости оценок и фальсификации истории. Как утверждается в монографии, *«склонность рассматривать колонизацию степей как общенародный, естественный и в основном мирный процесс, который протекал в пределах империи, но сам по себе не был*

империалистическим, была продуктом мифа, подмены действительного желаемым и сложной имперско-национальной идентичности русской элиты» (Р. 227). Признавая, что кочевое население степей не было уничтожено или загнано в резервации; что основная масса переселенцев — крестьяне — не пользовались особыми привилегиями и по своим правам мало чем отличались от «колонизуемых» ими номадов; что «русская колонизация» не была ни чисто русской, ни даже сугубо православной; что сама «колонизация» рассматривалась преимущественно как аграрный, т.е. экономический, а не политический вопрос; что управление исследуемым регионом строилось в соответствии с принципами, действовавшими на всей территории империи, а не только в предполагаемых «колониях», автор, тем не менее, заявляет, что все это *«лишь еще больше затемняло империалистический аспект колониационного процесса»* и подчеркивало присущую российской правящей элите *«тенденцию игнорировать империалистический аспект своих действий»* (Р. 227–228). Настойчивые попытки автора обнаружить «русский империализм», не считаясь с фактами (которые он, надо отдать ему должное, добросовестно излагает), напоминают поиски черной кошки в темной комнате, где кошки нет. В результате оказывается, что приводимые в книге факты стоят совершенно отдельно от теории и, более того, очевидно ей противоречат, чего, насколько можно судить, автор не замечает или упорно не хочет замечать. Конкретная, фактологическая часть книги имеет бесспорную ценность и читается с большим интересом, но, когда автор переходит к обобщениям и выводам, их трудно не назвать необоснованными и натянутыми. Парифразируя автора, мы можем сказать, что его собственная трактовка описываемых событий является продуктом мифа, подмены действительного желаемым и — почему бы и нет? — сложной историко-политической идентичности американской академической элиты.

К недостаткам работы относится и сознательное стремление автора излагать события *«с точки зрения сознания и опыта колонизаторов, а не колонизуемых»*. Конечно, его стремление можно понять, учитывая, что «империализм» — характеристика именно колонизаторов, а не тех, кого они колонизируют. Однако это приводит к односторонней интерпретации исследуемых процессов, исходящей из социального, политического и экономического неравенства сторон, одна из которых предстает как активная, доминирующая (русские власти и переселенцы), а другая — как пассивная (кочевники). Между тем более адекватной нам представляется не модель «присвоения» (appropriation), а модель взаимодействия (interaction), которая позволяет учитывать «точку зрения туземца» и описывать любой

социальный процесс как столкновение разнообразных символических стратегий, ориентированных на поиск компромисса, или «общего языка», устраивающего обоих участников взаимодействия. В рамках этой модели можно было бы исследовать восприятие рассматриваемых событий местным кочевым населением, его отношение к крестьянским переселенцам, проблемы, возникающие в ходе взаимодействия, и, наконец, формирование некоего социального порядка, который давал возможность и тем, и другим с большей или меньшей эффективностью преследовать свои частные интересы.

В дополнение к сказанному нужно добавить, что практически не затронутым в монографии остается геополитический контекст проблемы. Игнорирование этого аспекта не способствует проникновению в суть исследуемого явления и лишает его рассмотрение надлежащей исторической перспективы. В XVI—XVII вв. на постмонгольском пространстве в результате распада огромной империи образуется своеобразный вакуум власти. Этот вакуум начинает втягивать европейские и азиатские державы в борьбу за раздел монгольского наследства. В XVII—XVIII вв. на просторах азиатских степей сталкиваются интересы многих государств, бывших соседей ордынских ханов. Россия, Китай, Иран, Турция, Польша и другие государства конкурируют за контроль над разрозненными группами степняков, пытаясь владеть ими как орудиями своих внешнеполитических интересов. В этом контексте и следует интерпретировать политику Российского государства по отношению к степным народам, параллели к которой скорее могут быть обнаружены не в колониальной экспансии западных держав, а в отношениях Цинской империи с джунгарами и халха-монголами, Турции с крымскими татарами, Ирана с пуштунами и белуджами. Думается, такие параллели имеют больше прав на существование, чем теоретические фантомы вроде «русского империализма» и ему подобных.

Рецензируемая монография, на наш взгляд, представляет интерес как своеобразный эталон прочтения русской истории с точки зрения западного менталитета со всеми присущими ему мифами и заблуждениями. Но нельзя не отдать должное автору. Его искренние сомнения в собственных выводах, открытые для читателя, вызывают такое же искреннее чувство симпатии. Взгляд европейца на азиатскую историю любопытен, местами забавен, но заставляет о многом задуматься.

Библиография

Doyle M.W. Empires. Ithaca; New York, 1986.

Игорь Грачев, Павел Рыкин

Willard Sunderland. *Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe.* Ithaca; London: Cornell University Press, 2004. XVII + 239 pp.

Есть нечто весьма показательное в том безразличии, которое мы выказываем по отношению к этому мощному явлению распространения нашей расы и расширению нашего государства. Кажется, что мы, так сказать, победили и населили половину земного шара в припадке рассеянности.

[Seeley 1883: 10]

На сегодняшний день существует целый ряд весьма ценных англоязычных монографий, созданных учеными (почти все из них работают в американских университетах) по истории русского империализма; прежде всего это работы Джеймса Форсайта, Марка Базина и Юрия Слезкина о Сибири и Дальнем Востоке [Forsyth 1992; Bassin 1999; Slezkine 1994], Моше Геммера, Остина Джерсилда, Майкла Кемпера и Николаса Брейфогла о Кавказе [Gammer 1994; Jersild 2002; Kemper 2005; Breyfogle 2005], а также исследования Даниела Бровера, Адиба Халида и Джефа Сагадео о Центральной Азии [Khalid 1997; Brower 2002; Sahadeo], Роберта Джераси и Пола Верта о Волго-Камском регионе [Geraci 2001; Werth 2002]. До настоящего времени существовало три основных исследования степных регионов в эпоху до 1917 г.: книга Аллена Франка, в которой подход опытного ориенталиста применяется к истории Новоузенского района, расположенного в районе реки Урал, монография Вирджинии Мартин, писавшей о том, как менялось традиционное казахское право в ответ на давление имперского государства, а также исследование Майкла Ходарковского, изучавшего степь как пограничную территорию, где «был невозможен мир» [Frank 2001; Martin 2001; Khodarkovsky 2002]. Блистательная новая книга Уилларда Сандерленда до известной степени основывается на работе Ходарковского, сходным образом охватывая столь же обширный, гранди-

озный временной отрезок (1100–1900), однако географически более конкретно фокусируется на европейской степи, простирающейся приблизительно от Оренбурга до Днестра и охватывающей Северный Кавказ, Кубань, Дон и земли Тавриды.

На современных географических картах большая часть этой обширной территории представлена попросту российской или украинской — причем только наличие «автономных» республик Башкортостан и Калмыкия указывает на то, что присутствие в этом регионе более ранних цивилизаций было отчасти заслонено. Заслугой Сандерленда является то, что он приподнял завесу над процессом, который превратил территорию, некогда населенную главным образом тюркскими кочевниками, в земли, на которых подавляющее большинство составляют оседлые славяне, созданием наиболее успешной — по-скольку наиболее незаметной — колонии России (Р. 227–228).

В то время как подход Ходарковского является в большей степени подходом социального историка, обследующего моменты конфликта и сотрудничества между оседлыми и кочевыми обществами, Сандерленд обращает больше внимания на государственные структуры, в частности на постепенную бюрократизацию процесса переселения в «пустую» степь. Благодаря обращению к архивным источникам из хранилищ Оренбурга, Симферополя и Одессы, а также Москвы и Петербурга «*Taming the Wild Field*» оказывается богатой смесью из административной, экологической и интеллектуальной истории, демонстрируя, как идеи относительно природы и пользы степи, а также сомнения относительно того, является ли степь «колонией» России, менялись с течением времени. Имена хорошо известных ученых, таких как В.Н. Татищев (Р. 37–39) или Петр Семенов-Тянь-Шанский (Р. 195–196), встречаются наряду с не столь знаменитыми специалистами, вроде почвовед В.В. Докучаева (Р. 203–204), бюрократами, такими как первый глава Министерства государственных имуществ П.Д. Киселев (Р. 137–138), а также пехотинцами колониационного процесса, вроде «образцового менонита» Иоханна Корниса (Р. 117–118). Изменения в облике степи по мере того как кочевники уступали дорогу крестьянскому сельскому хозяйству, а также официальные заботы по поводу ухудшения экологической ситуации в данном регионе (Р. 196–206) также детально описаны в книге.

Первый раздел монографии Сандерленда «*The Rus' Land and the Field*» (Р. 11–15) предлагает сжатый, но живой разговор о месте степи в ранних русских летописях, подчеркивавших чуждость степи и ее отличия от территорий живших в лесных областях славян. При отсутствии множества деревьев, водо-

емов, ягод или грибов, населенное не-славянами, нехристианами-кочевниками, периодически нападавшими на русские города, «поле» представлялось чужим и временами опасным местом. Этот «простор» обладал, тем не менее, и своими привлекательными сторонами, как место, куда могли переезжать крестьяне, стремясь избежать государственных поборов, хотя иногда и страдая от отсутствия защиты. Из случайной смеси неконтролируемой крестьянской миграции в XVII и начале XVIII в. при наличии государства, расширявшего свои границы с целью заполучить назад подданных, стремившихся к пустоте и относительной свободе степи (Р. 11–35), эпоха конца XVIII в. стала свидетельницей того, как степь превратилась в пространство, пригодное для реализации принципов Просвещения, почти *tabula rasa*, где вдали от беспорядка «коренной Руси» можно было вводить новые, рациональные типы ведения сельского хозяйства посредством предприимчивых поселенцев, примером которых являлись немецкие меннониты, хотя при этом существовали менее успешные эксперименты с болгарами, бессарабцами и евреями из черты оседлости (Р. 55–73). В эпоху, которую Сандерленд описывает как «бюрократическую колонизацию» (Р. 97–113), число иностранных колонистов стремительно сокращалось, в то время как государственные крестьяне расселялись в больших количествах.

Сандерленд отчетливо показывает (Р. 126–127) прежде всего отсутствие явной политики, нацеленной на то, чтобы обезопасить уязвимые пограничные области, заселив их православными крестьянами-великороссами. В 1840-х гг. проблемы этничности или религии были не очень значимы для определения того, насколько подходят внутренние мигранты для степи, и все государственные крестьяне, независимо от своего происхождения, считались пригодными. В дальнейшем ситуация поменялась. Начиная с 1837 г. Министерство государственных имуществ приняло на себя ответственность за колонизацию и благополучие колонистов, в известном смысле предвосхитив деятельность Переселенческого управления, созданного в 1894 г. для переселения крестьян в азиатские степи и Сибирь. Деятельность этого ведомства была детально рассмотрена Сандерлендом ранее [Sunderland 2003]. Как и в других европейских империях, к концу XIX в. представления о европейском расовом и культурном превосходстве по отношению к азиатам становились преобладающими, как и использование термина «колонизация» наряду с «переселением». Сандерленд не единожды сравнивает колонизацию степи и миграцию переселенцев в других европейских империях, и с немалым успехом (Р. 225), и здесь он опирается на русских авторов той эпохи.

Уже в 1866 г. профессор Казанского университета С.В. Ешевский говорил о государственной политике крестьянской колонизации степи как о европейском триумфе над азиатским варварством (Р. 170). В 1890-х гг. президент Императорского Географического общества Петр Семенов-Тянь-Шанский писал, что русское заселение *«черноземных пространств» «Сарматской равнины»* является частью большого *«колониационного движения европейской расы»*, тогда как Александр Кауфман, служивший в Переселенческом управлении, проводил недвусмысленные параллели с американской экспансией на Запад (Р. 195).

В то время как эти идеи пускали корни, степной регион утрачивал свою значимость в качестве пространства русской колонизации на фоне североказахских степей, Восточной Сибири и Семиреченской области в Туркестане. Европейская степь была теперь освоена, с грязевыми ваннами в Астрахани, кумысолечебницами рядом с Оренбургом. И, что достаточно предсказуемо, по мере того как исчезали старые кочевые пути, они начинали все больше романтизироваться в литературе и живописи (Р. 209–220). Ногайцам, как я недавно обнаружил при путешествии в Астрахань, все еще удается сохранять память о священной исламской географии, о святилищах суфийских *шейхов* [Frank 2001]. Однако сегодня память о ранних тюркских оседлых и кочевых жителях Крыма, Тавриды и Донской области заслонена представлениями о том, что все эти территории всегда были украинскими или русскими. Это единственные соперничающие претензии, обладающие современным политическим значением. Исключением являются крымские татары, небольшое число которых пытается вновь обустроиться на землях, с которых они были депортированы en masse Сталиным в 1942 г., но даже их незавидное положение в значительной степени оказывается забытым на фоне постоянных желчных полемик о том, являлся ли законным хрущевский «дар» Крыма Украине в конце 1950-х гг. Как пишет Сандерленд (Р. 228), *«к этому времени (ок. 1900) стало понятно, что пастбища на севере Черного и Каспийского морей принадлежали чужакам, которые их колонизировали, переизобрели их и таким образом натурализовали свои владения настолько, что казалось трудно поверить в то, что эти равнины когда-то могли принадлежать кому-либо еще»*.

Замечательный успех этого процесса, а также историческую слепоту, которую спровоцировал этот успех, можно оценить по горячему тону рецензии П.О. Рыкина и И.А. Грачева на книгу Сандерленда. Складывается впечатление, что рецензенты прочитали только введение, перед тем как отбросить книгу с отвращением; то, что вызывает их возражения, более или

менее сводится к тому факту, что вместе с рубриками «русская история» и «русская территориальная экспансия» издательство Корнельского университета решило добавить на обложку «империализм». Именно это слово в качестве описания московской, петровской, екатерининской и позднеимперской государственной экспансии в евразийские степи больше, чем что-либо еще, не могут проглотить рецензенты. Рыкин и Грачев обвиняют Сандерленда в «стереотипном» понимании терминов «империализм» и «колониализм», а также в том, что он использует их применительно к России в немодифицированном виде. Это представляется особенно неудачным, поскольку работа Сандерленда является тонкой, сбалансированной, вполне чувствительной к тем различиям, которые существуют между русским империализмом и западными соперниками империи. Вот, что он пишет о колонизации европейской степи в XVIII в., в пассаже (Р. 89), выхваченном Грачевым и Рыкиным в качестве образчика «странной логики»: *«Европейская степь в целом никогда не описывалась как колония, по всей вероятности, потому, что не была отделена географически от всего остального государства, хотя в других отношениях — на самом очевидном уровне, это название Новороссия — намек на колониальный статус кажется очевидным. Присущая всему этому двусмысленность демонстрирует главную, непреходящую правду о степи: одновременно достаточно отличающаяся, чтобы требовать исследования, достаточно опасная, чтобы требовать расселения казаков и власти военных губернаторов, достаточно не-русская, чтобы быть завоеванной и присвоенной, а к тому же достаточно удаленная, так что могла казаться в Петербурге „граничащей с Китаем“, степь, несмотря ни на что, не определялась как регион, вполне отличный от России. Русские начали наиболее интенсивный период колонизации степи, прибегая к риторическому стилю европейского колониализма, не идентифицируя отчетливо, тем не менее, данную колонию в качестве колониального пространства».*

Грачев и Рыкин вырывают из контекста этот фрагмент с тем, чтобы поиронизировать над его противоречиями, однако именно эти противоречия и интересуют Сандерленда. Как он отмечает (Р. 46–47), самое раннее использование термина «Новороссия» появляется у Ивана Кирилова, возглавлявшего в 1734–35 гг. Оренбургскую экспедицию, которая должна была открыть «пустые» степные маршруты за новой транскамской дорогой; это привело к основанию крепости и города Оренбурга, позднее ставшего плацдармом для русской экспансии в Центральную Азию. Отзвуки «Новой Англии» и «Новой Голландии» очевидны. Сандерленд показывает (Р. 69–70), что официальное принятие данного названия в качестве наимено-

вания завоеванных степных земель к северу от Черного моря было частью процесса осознанного переименования всех населенных пунктов и местностей данной области с тем, чтобы, как сформулировал историк А.Н. Самойлов, «*уничтожить всякую память о варварах*», населявших в прежние времена этот регион. Под варварами он имел в виду неправославных кочевников, рассматривавшихся с той же смесью презрения к их отсталости и восхищения их «*благородной дикостью*», характеризовавшей взгляд американских колонистов на индейские племена, которые они вытесняли (Р. 62–63).

Рыкин и Грачев прибегают к нескольким примерам, приводимым Сандерлендом, чтобы доказать, что экспансия России в степи не являлась «империалистической». Так, они пишут, что если в конце XVII в. калмыцкий правитель Аюха-Хан сам решал, когда посылать помощь русским против крымских татар, а когда не посылать (Р. 27), то «*о каком империализме*» мы можем говорить? Приводить пример конца XVII в., чтобы доказать, что российская политика в степном регионе в XVIII и XIX вв. не была «империалистической», является, по меньшей мере, уверткой. Если не обращать, однако, на это внимания, неужели Рыкин и Грачев всерьез полагают, что британцы завоевали Индию без помощи своих индийских союзников? Уже в 1799 г. низам Хайдерабада помог Ост-Индской компании в ее борьбе против султана Типу, и, хотя к этому времени власть низама была до некоторой степени ограничена, знаменитая победа Роберта Клайва над сагибом Чанды при осаде Аркоты в 1751 г. стала возможной только благодаря своевременному прибытию 2000 маратских кавалеристов, посланных навабом Аркоты Мухаммадом Али Валаджаом [ibn Hasan 1934: XII]. И он, и другие независимые правители постмонгольской эпохи иногда свободно заключали союз с британцами, поскольку это соответствовало их краткосрочным интересам и давало возможность нанести удар по местному сопернику. То, что калмыцкий вождь вел себя по отношению к русским таким же образом, ничего не доказывает.

Кроме того, Сандерленд пишет (Р. 47), что большинство населения Оренбурга в XVIII в. состояло из «*местных казахов и башкир*». Рыкин и Грачев заявляют, что это означало, что город нельзя рассматривать в качестве «*восточного форпоста русского колониализма*». Они полагают, что в Мадрасе, Бомбее и Калькутте в XVIII в. не жили индийцы? А в Батавии не было яванцев? Что в *казбах*х, построенных французами в Северной Африке, не было арабских жителей? Если они так считают, то они жестоко ошибаются, тем не менее я сомневаюсь в том, что они стали бы дискутировать по поводу колониальной природы этих форпостов.

Анализ Сандерлендом программ по седентаризации кочевников (Р. 103) как еще одного аспекта колонизации также вызывает раздражение Рыкина и Грачева, заявляющих, что сочетание финансовых субсидий, имперских наград, бесплатного зерна и орудий, используемых для того, чтобы поощрять башкир, калмыков и казахов «взяться за плуг», выгодно отличается от массового уничтожения американских индейцев в британских колониях в этот же период. Это верно, однако это не отменяет колониальной по сути природы данного предприятия, которое должно было «превратить» кочевников в наиболее полезных граждан империи, а также включало заселение большинства пахотной земли крестьянами-колонистами.

Последний пример, который приводят Рыкин и Грачев для демонстрации «неимперской» природы русской экспансии (уход множества калмыков в китайскую Джунгарию в 1771 г.), представляется особенно странным. Сандерленд пишет (Р. 57), что обеспокоенные все возрастающим вторжением русских в свои внутренние дела, свыше 150 000 калмыков, приблизительно три четверти всего населения, мигрировали для того, чтобы, как сказал один из их лидеров, избежать «тягот рабства» под русским управлением. Екатерина Великая смотрела на это иначе — как на попытку уйти от служебных обязанностей, которые они должны были нести в качестве русских подданных. Она послала экспедиционное казачье войско для того, чтобы поймать и вернуть калмыков, и когда эта затея провалилась, безуспешно апеллировала к циньскому императору. Рыкин и Грачев уверяют нас, будто факт того, что калмыки рассматривались в качестве российских подданных, а не *«опасных туземцев, подлежащих беспощадной эксплуатации или уничтожению»*, означал отсутствие «имперских» или «колониальных» взаимоотношений! Тот факт, что русские администраторы в целом ценили жизнь нерусских обитателей «пустых» степных пространств выше, чем колонисты Северной Америки, стоит приписывать не альтруизму или более сильному чувству человеческого братства, но тому, что российское государство испытывало хроническую нехватку рабочей силы и постоянно стремилось помешать населению утекать за кордон. Британцы в Индии также пытались помешать миграции крестьян, стремившихся уйти от налогового бремени и службы под управлением англичан. Они поощряли крестьян к переезду из перенаселенного Восточного Пенджаба на только что снабженные оросительными системами земли на западе, прибегая к тем же стимулам, что и русские по отношению к кочевникам, однако это не изменило в корне неравенства в их взаимоотношениях. Пенджабцы, как и калмыки, являлись имперскими подданными [Ali 1988].

Другой раздел, с которым никак не могут согласиться Рыкин и Грачев, это заключение книги (Р. 227–228), где Сандерленд еще раз (на мой взгляд, удачно) рассматривает двусмысленный характер и «расплывчатый империализм» русской колонизации степи. Сандерленд вполне обоснованно полагает, что процесс, в результате которого кочевники, прежде населявшие степь, потеряли большую часть своей земли, а также свою автономию, должен описываться как разновидность *империализма*. Он признает, что в отличие от русской колонизации казахской степи этот процесс редко признавался властями открыто колонизационным, поскольку здесь не было ни резерваций для местных жителей, ни массового уничтожения, как в Северной Америке. Последняя глава книги начинается так (Р. 223): *«Обширные пастбища юга Европейской России стали платформой наиболее ранних и самых влиятельных столкновений русских с другим и наиболее долгосрочным театром русской экспансии и сельскохозяйственной колонизации. Данная книга является исследованием того, как эти две реальности разворачиваются вместе на протяжении почти тысячи лет, влияя друг на друга и по ходу дела создавая имперский регион. От по видимости наиболее чуждого, дикого пространства к пробному камню нации, от пограничной зоны кочевников и казаков до имперской области фермеров и бюрократов, от мира тюрко-монгольских культур до мультиэтничного универсума с преобладанием славян, степь постепенно и настойчиво превращалась в противоположность того, чем она была, когда попала в анналы русской истории. Действительно, она была настолько основательно колонизирована русскими и другими чужаками, освоена их экономическими и культурными практиками, что превратилась в самое невидимое и в этом смысле наиболее успешное имперское владение России. К началу XX в. степь была настолько глубоко преобразована русским империализмом, что современникам было трудно определить, является она пограничной землей, колонией или же самой Россией».*

Сам по себе этот фрагмент достаточен, чтобы указать на то, что Грачев и Рыкин ошибаются, утверждая, будто Сандерленд просто применяет грубые западные стереотипные представления об империализме к России. Он отчетливо показывает, что процесс экспансии в степи, говоря объективно о ситуации «колонизации», субъективно не рассматривался таким образом теми, кто был в него вовлечен; что мы имеем в данном случае дело с ситуацией усвоения и ассимиляции, а не «завоевания» в обычном смысле слова. Тем не менее заявлять, что экспансия, не включающая военных завоеваний, не является «колониальной», значит отрицать колониальную природу множества европейских миграций на американский Запад или

вглубь Австралии — что со всей очевидностью было бы абсурдным.

Основным оправданием русской имперской экспансии, предлагаемым Рыкиным и Грачевым, является то, что конец монгольского владычества оставил позади себя «властный вакуум», что неизбежно влекло русских в степи. Это, по-видимому, означает, что завоевание данного региона не может описываться как «империализм» или, в самом крайнем случае, что его обитатели должны быть благодарны русским, спасшим их от еще более неприятной власти китайцев, иранцев и турок. Здесь отчетливо различимы отзвуки славянофильских писаний Николая Данилевского; параллель, которая удивит Рыкина и Грачева, можно обнаружить в наблюдениях губернатора Бомбея в 1830-х гг. сэра Джона Малькольма о возникновении британского владычества в Индии: *«Ост-Индская компания начала становиться политической силой и, следовательно, стала государством в эпоху падения имперского дома Тимура, когда различные индийские принцы спорили по поводу фрагментов распавшейся империи, каждая провинция которой была раздираема их маленькими войнами или стонала под их временным игом»* [Malcolm 1826: 5–6].

Аргумент «властного вакуума», таким образом, является весьма избитым и старым, а кроме того, заслуживает упоминания то, что сэр Джон Силей, отнюдь не являвшийся жестким критиком британского империализма, еще в 1883 г. считал его неприменимым к Индии, вместо этого приписывая британскую экспансию агрессивности и жадности Ост-Индской компании [Seeley 1883: 305–307]. Самое время бросить такой же критический взор на русскую имперскую экспансию, что и сделал Сандерленд в отношении европейской степи. Хорошо осознавая тот факт, что в XVI и XVII вв. значительная доля русской колонизации в данном регионе находилась вне эффективного контроля государства (Р. 29–34), Сандерленд приводит свидетельства, которые отчетливо показывают, что по крайней мере с 1750-х гг. существовала четкая политика экспансии и колонизации, направлявшаяся из центра (с разной степенью успеха). Окончательное присоединение черноморских степей потребовало двух агрессивных войн против Османской империи (Р. 55–60). «Собирание земель Золотой Орды», завершенное аннексией Крыма, являлось со всей очевидностью частью сознательного экспансионистского проекта.

Грачев и Рыкин в состоянии удерживать удобную дистанцию между «доброжелательным» русским колониализмом и его западным двойником-«эксплуататором» отчасти благодаря

предсказуемому взгляду на первый феномен через розовые очки и абсурдно карикатурному образу второго. Российская империя не только не была раем дальтонической толерантности, любимой советскими историками и евразийскими мыслителями; представление о строгой западно-восточной полярности в других европейских империях, ставшее популярным благодаря покойному Эдварду Саиду, также является в известном смысле мифом, во всяком случае требует осторожных уточнений. Конечно, не только российские историки делают подобные заявления [Figes 2001: 380–384; Hosking 1996: 39–40]. Недавняя полемика между Натаниелем Найтом и Адибом Халидом на страницах «Критики» по поводу того, применим ли «ориентализм» Эдварда Саида к России, также до известной степени была мимо цели, поскольку парадигма Саида не может некритически применяться ни к одной из европейских империй [Khalid, Knight 2000]. В том что касается взаимоотношений империй с «подвластными народами», все многообразие форм империализма можно обнаружить в одном континууме: иногда типы имперского устройства могут быть близкими соседями, иногда они могут быть отдалены друг от друга, тем не менее у них всегда есть нечто общее. Однако эта точка зрения широко, а подчас и жестко отвергается в сегодняшней России.

Доктор Александр Гелиевич Дугин, основатель Международного Евразийского движения, любит указывать, что Россия не является ни Востоком, ни Западом, но чем-то промежуточным и что поэтому ее идентичность вступает в противоречие со строчками Киплинга из его «бессмысленного» стихотворения о никогда не встречающихся близнецах, что верно лишь в отношении материалистических, рационалистических, империалистических народов Запада¹. Как и большинство тех, кто беззаботно прибегает к избитой фразе Киплинга, Дугин не приводит окончания стихотворения, в котором подчеркивается нечто совершенно иное: *Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, / Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?* (пер. Е. Полонской). Дело не просто в том, что Киплинг оказывается более тонким, а подчас и более противоречивым писателем, чем нередко заставляет думать (в первых строчках «Человека, который был» («The Man who Was») он вставляет замечание о русских, которое является более подходящим для целей Дугина²). Дело в том, что непонимание

¹ Чтобы составить себе представление о «евразийской» программе, см. <<http://www.evrzasia.org/>>.

² «Следует отчетливо понимать, что русский является очаровательным человеком, пока он находится на своем месте. Как восточный человек, он очарователен. И только тогда, когда он начинает настаивать на том, чтобы на него смотрели как на самый восточный

Дугина симптоматично для широко распространенного незнания русских о природе западных колониальных империй. Дугин, как и другие мыслящие сходным образом наблюдатели, был бы удивлен, узнав, что бабушка лорда Ливерпуля, британского премьер-министра в 1812–1828 гг., была из Гуджарати и что в британской и французской империях имели место многочисленные культурные обмены и междрасовые смешения, хотя с середины XVIII в. это происходило на основе жесткого неравенства и к 1830-м гг. границы стали более четкими. У фельдмаршала лорда Робертса Кандагарского, британского военачальника во Вторую афганскую и англо-бурскую войны, были индийские бабка и мачеха. Категория класса подчас была столь же существенна, как и категория расы для определения британской имперской иерархии; это означает, что индийские принцы могли посещать элитарные школы и университеты и быть принятыми в закрытые клубы, попасть куда даже не могли мечтать белые мужчины-пролетарии; что первый индеец, ставший членом парламента, был избран в 1898 г.¹ и что в 1890-х гг. К.С. Ранджитсинжи не просто мог играть в крикет за Кембридж и Англию, но быть капитаном крикетного клуба графства Сассекс и иметь в своем подчинении белых британцев [Ballhatchet 1980; Cannadine 2001].

Все это не является отрицанием того, что британская империя, по крайней мере начиная приблизительно с 1800 г., была расистским предприятием, в котором британцы были привилегированным народом: однако это указывает на то, что упрощением было бы полагать существование четких различий между западными империями, основанными исключительно на расовой иерархии, и российской империей, где единственным детерминантом положения и власти являлась категория *сословия*. Именно представление о том, что завоевания России носили *исключительно* ассимиляционный характер, в течение долгого времени позволяло российским историкам и философам отрицать, что Россия является или когда-либо являлась колонизаторской, империалистической. Они могли говорить, что российская экспансия была в известном смысле «естественной», органической и не требовала насильственных захватов и пролития (большой) крови. Эта точка зрения была суммирована Николаем Данилевским, писавшим в 1871 г.: «*Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез... Он или занимал пустыри, соединял с собой путем исторической, нисколько не насиль-*

из западных народов, а не на самый западный из восточных, он становится расовой аномалией, с которой исключительно трудно иметь дело» [Kipling 1903: 97].

¹ Dadabhai Naoroji, Liberal MP for Finsbury and a prominent Indian Nationalist.

*ственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключающие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне или грузины» [Данилевский 2003: 45]. Не вызывает удивления, что подобным мыслям вторит такой несколько безумный политик, как Дугин; гораздо большее беспокойство испытываешь, обнаруживая, что под ними с энтузиазмом готовы подписаться специалисты, занимающиеся российской и другими европейскими империями. К несчастью, рецензия на книгу Сандерленда, написанная Грачевым и Рыкиным, представляет эти тенденции современной российской науки в особенно опасной форме. Их раздраженная реакция на мысль Сандерленда о том, что российская экспансия в степной регион действительно является «империализмом», отражает именно то, что глубокие следы далеких по времени «варваров», как формулировал это Самойлов, оказались стертыми. Блестящие работы В.О. Бобровникова и Сергея Абашина [Бобровников 2002; Абашин 2002] среди прочих, а также существование выходящего в Казани прекрасного журнала «Ab Imperio» показывают, что это отнюдь не универсальный феномен в современной России, хотя все еще широко распространенный. Так, доктор Евгения Ванина, заведующая южно-азиатским сектором Института востоковедения РАН, во введении к своей недавней англоязычной публикации, говорит о *«российских трагических свидетельствах опустошающих вторжений с Запада, вековых традициях контактов с азиатскими народами, евразийском характере русской цивилизации в целом, который способствовал сочувственному взгляду русского общества на Индию и негативному восприятию западного воздействия на нее. Обе наши страны, Индия и Россия, на протяжении веков оставались непонятыми, оклеветанными и опороченными Западом, который пытался установить превосходство евроамериканского образа жизни в противоположность „варварским“ Индии или России»* [Vanina 2003: XII–XIII].*

Таким образом, Россия, империя, которая в пик своего расцвета покрывала шестую часть земного шара и чей правящий класс был абсолютно европейским, чья агрессивная армия некогда обдумывала завоевание Индии, начинает играть роль жертвы. Не нужно далеко ходить, чтобы обнаружить источник таких непродуманных представлений об эксплуатации России Западом и международной солидарности с такими же угнетаемыми, добывающими хлеб свой тяжелым трудом народами мира. «Великая дружба» между Россией и подвластными ей

народами была излюбленной темой огромного числа работ послевоенной советской историографии [Tillett 1969; Slezkine 1994: 323–335; Martin 2001: 432–461]. Однако Советский Союз развалился пятнадцать лет назад, и ученые больше не обязаны составлять политически тенденциозные комментарии, покоящиеся на сомнительном фактическом фундаменте. По всей вероятности, некоторые продолжают прибегать к мифу о всецело благожелательной российской экспансии, поскольку он им нравится и они все еще в него верят.

Менее вопиющей, но в известном смысле более досадной является цитата из текста Сергея Панарина и Дмитрия Раевского — досадной, поскольку принадлежит перу двух видных ученых, чей журнал «Вестник Евразии» опубликовал замечательную работу: *«Для завершения формирования исторической Евразии решающее значение имела экспансия Российской империи. Она распространилась на земли, непосредственно примыкающие к „метрополии“, а не на отделенные от нее морями и океанами, как было с остальными империями нового времени. При этом Россия как бы „возвращала“ в лоно единого государства области, некогда уже входившие в состав прежних „мировых“ империй. В этом одно ее отличие от европейских колониальных держав»* [Панарин, Раевский 2003]. На самом деле сборник, в предисловии к которому появился этот пассаж, является замечательно сбалансированным, исключительно высококачественным; обидно, что это введение настолько неадекватно остальным текстам.

Никто не будет отрицать, что если отставить в сторону Кавказ и Центральную Азию (где параллели с заморской экспансией европейских империй являются очевидными), Российская империя обладала некоторыми важными специфическими чертами. Она была сухопутной, а не морской, расширялась неизменно в течение четырехсот лет или около того на прилегающие земли, которые уже были более или менее хорошо известны, нередко четкие различия между метрополией и периферией отсутствовали. Все это во многих отношениях отличало Российскую империю от других империй Нового времени. Однако эти различия не по качеству, а по степени. Легко можно продемонстрировать сходство России с ее сухопутными современницами, Османской и Австро-Венгерской империями, или провести параллели между российской экспансией и американской экспансией на Запад¹. Различие «суша/море» не следует абсолютизировать. Индия и Америки располагались очень далеко от европейской метрополии, однако можно ли

¹ Сопоставления России с Турцией и Австрией см.: [Lieven 2000]; Россию с Америкой сопоставляет и Сандерленд.

утверждать, что небольшое расстояние по морю между Марселем и Алжиром делает французский империализм совершенно отличным от сухопутных империй? Если говорить об Индии, то после открытия Суэцкого канала в 1869 г. время путешествия из Саутгемптона в Бомбей было вполтину короче, чем поездка из Москвы в Ташкент, не говоря уже об Иркутске или Владивостоке. Естественно, можно рассуждать о роли моря как воображаемой границы, позволяющей провести четкую демаркационную линию между метрополией и колонией, однако нет сомнений, что до железнодорожной эпохи море являлось основным мировым путем и гораздо менее эффективным *физическим* барьером, чем пустыня, степь или горы.

Вопрос о «преемственности» также требует внимательного рассмотрения. Конечно, существует гипотеза, утверждающая, что русские получили в наследство «дело» монголов (вероятно, именно на это намекает Панарин, говоря про «*возвращение в лоно*»), однако каким образом существование предшественника (и при этом отнюдь не идентичного) делает империю более мирной или менее империалистической? Вполне резонно утверждать, что британцы в Азии не только осознанно подхватили имперское наследие Моголов, но являлись помимо всего наследниками торговых империй португальцев и голландцев, так же как русские наследовали монголам. Любой нарратив о Российской империи, в котором процесс экспансии представлен мирной неизбежной ассимиляцией, со всей необходимостью не принимает в расчет осаду Казани, кровавую кампанию Ермака в Сибири, войны против калмыков, башкир и казахов (все во имя «подавления внутренних мятежей»), войны против Османской и Персидской империй, кровопролитный восьмидесятилетний конфликт на Северном Кавказе и ряд кампаний по завоеванию Центральной Азии между 1865 и 1885 гг., ставшей свидетельницей уничтожения в 1881 г. генералом Скобелевым нескольких тысяч туркмен в Геок-Тепе.

Скобелев — особенно интересная фигура благодаря недавним попыткам его реабилитации в качестве «героя империи»: начиная только с 2000 г. появились три его новых биографии, недвусмысленно прославляющие генерала и его роль в имперской экспансии¹. Прозрачно названный Соболевым, генерал играет важную роль в двух романах Бориса Акунина, один из которых был экранизирован; образ турок в этом фильме заставил бы Эдварда Саида перевернуться в гробу, если бы он когда-нибудь выказал интерес к России [Акунин 1998]. То, что

¹ [Костин 2000]; [Глуценко 2001] (эта шовинистическая книжка также содержит не критические биографии К.П. фон Кауфмана и М.Г. Черняева); [Гусаров 2003]; см. также: [Кирилин 2002].

я хочу сказать, отнюдь не является пустяком: как и любая другая европейская страна, Россия больше не может благоденствовать по поводу своего имперского прошлого или прославлять его. Недавняя примитивная апология британского империализма, написанная Н. Фергюсоном и охотно подхваченная американскими неоконсерваторами, показывает, что и на Западе это остается важной проблемой [Ferguson 2003]. Когда русский шовинистический национализм оказывается на подъеме, когда предрассудки против бывших подданных, особенно с Кавказа, оказываются широко распространенными и когда предпринимаются шаги для того, чтобы вновь утвердить доминирующую позицию России в отношении республик бывшего СССР, ученым следует вести себя более нейтрально, сбалансированно и критично по отношению к имперскому наследию своей страны — в большей степени, чем многие из них поступают сегодня.

Библиография

- Абашин С.Н.* Община в Туркестане в оценках и спорах русских администраторов начала 80-х гг. XIX в. // Сборник Русского исторического общества. 2002. Т. 5 (153). С. 71–88.
- Акунин Б.* Турецкий Гамбит. Смерть Ахиллеса. М., 1998.
- Бобровников В.О.* Мусульмане Северного Кавказа. Обычай, право, насилие. М., 2002.
- Глуценко Е.* Герой Империи. М., 2001.
- Гусаров В.И.* Генерал М.Д. Скобелев. Легендарная Слава и несбывшиеся надежды. М., 2003.
- Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 2003.
- ген.-майор Кирилин А.В.* Боевые заслуги М.Д. Скобелева в Туркестане // Военно-исторический журнал. 2002. Т. 7 (507). С. 40–45.
- Костин Б.* Скобелев. М., 2000.
- Панарин С., Раевский Д.* Предисловие // Евразия. Люди и мифы. М., 2003.
- Ali I.* The Punjab Under Imperialism 1885–1947. Princeton, 1988.
- Ballhatchet K.* Race, Sex and Class under the Raj. L., 1980.
- Bassin M.* Imperial Visions. Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Far East, 1840–1865. Cambridge, 1999.
- Breyfogle N.* Heretics and Colonizers. Forging Russia's Empire in the South Caucasus. Ithaca, 2005.
- Brower D.* Turkestan and the fate of the Russian Empire. L., 2002.
- Cannadine D.* Ornamentalism. L., 2001.
- Ferguson N.* Empire: How Britain made the Modern World. L., 2003.
- Figes O.* Natasha's Dance. L., 2001.

- Forsyth J.* A History of the Native Peoples of Siberia. Cambridge, 1992.
- Frank A. J.* Muslim Religious Institutions in Imperial Russia. The Islamic World of Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde 1780–1910. Leiden, 2001.
- Frank A.J.* Muslim Sacred History and the 1905 Revolution in a Sufi History of Astrakhan // DeWeese D. (ed.). Studies in Central Asian History in Honor of Yuri Bregel. Bloomington, 2001. P. 297–317.
- Gammer M.* Muslim Resistance to the Tsar. London, 1994.
- Geraci R.* Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca, 2001.
- ibn Hasan B.* Tuzak-i-Walajahi. Madras, 1934. Part I.
- Hosking G.* Russia, People and Empire. L., 1996.
- Jersild A.* Orientalism and Empire. Montreal, 2002.
- Kemper M.* Adat against Shari'a: Russian Approaches towards Daghestani «Customary Law» in the 19th Century // Ab Imperio. November 2005. Vol. 3.
- Khalid A.* The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1997.
- Khalid A.* Russian History and the Debate over Orientalism; *Knight N.* On Russian Orientalism: A Response to Adeeb Khalid // Kritika. Fall 2000. Vol. 1. № 4. P. 691–715.
- Khodarkovsky M.* Russia's Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire 1500–1800. Bloomington, 2002.
- Kipling R.* Life's Handicap. L., 1903.
- Lieven D.* Empire. The Russian Empire and its Rivals. L., 2000.
- Malcolm J.* The Political History of India from 1784 to 1823. L., 1826. Vol. I.
- Martin T.* The Affirmative Action Empire. Ithaca, 2001.
- Martin V.* Law and Custom in the Steppe. The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century. L., 2001.
- Sahadeo J.F.* Russian Colonial Society in Tashkent, 1865–1923. Bloomington (forthcoming).
- Seeley J.* The Expansion of England. L., 1883.
- Slezkine Y.* Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, 1994.
- Sunderland W.* Empires without Imperialism? Ambiguities of Colonization in Tsarist Russia // Ab Imperio. June 2003. Vol. 2.
- Tillett L.* The Great Friendship. Chapel Hill, 1969.
- Vanina E.* (ed.). Indian History. A Russian Viewpoint. Delhi, 2003.
- Werth P.* At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, 2002.

Александр Моррисон
Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума